

УЮТНЫЙ ДЕТЕКТИВ • КНИГА 2

Марина Стаханова И СВИДЕТЕЛЬ МЕЖЕВАНИЯ



Надежда Чародейская

СНТ "Ромашка"

Надежда Чародейская
**Марина Стаханова и
свидетель межевания**

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Марина Стаханова и свидетель межевания / Н. Чародейская —
«Автор», 2026 — (СНТ "Ромашка")

10 июня судья в отставке Алевтина Павловна Крапивина возвращается в СНТ «Ромашка» — и попадает на войну. Кто-то по ночам двигает межевые колья, соседи делят заборы с рулеткой наперевес, сторож Олег твердит «я ничего не видел», а землемер Кротов, единственный официальный свидетель границ, явно что-то скрывает. Распутывая дачный спор, Алевтина Павловна находит две старые тетради — и понимает, что колья здесь ни при чём. За ними — шантаж длиной в двадцать три года, чёрная касса посёлка, убийство, которое все сочли несчастным случаем, и тайна председателя, умершего в 2003 году. Нити тянутся в лихие девяностые, а цена правды растёт с каждым днём: от пятидесяти тысяч — до миллиона. И до человеческой жизни. Впереди — суды, выборы председателя, конкурс на лучший участок и новогодняя ночь, которая всё расставит по местам. Почти всё: письмо, пришедшее второго января, перевернёт главную тайну «Ромашки» с ног на голову. Но это — уже третья книга.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Забор	5
Глава 1. Межа	9
Глава 2. Городские	15
Глава 3. Панама	20
Глава 4. Вода держит недолго	24
Глава 5. Сын	28
Глава 6. Кредиторы	32
Глава 7. Предвыборная	35
Глава 8. Канат	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Надежда Чародейская

Марина Стаханова и свидетель межевания

Пролог. Забор

20 июня, ночь → утро

Гроза пришла после полуночи — с той стороны пруда, где днём парило так, что Пальма рыла яму под вишней и ложилась в неё животом. Сначала полыхнуло белым — беззвучно, как фотовспышка, — потом ударило так, что задребезжали стёкла, а Филимоновский петух, вопреки обыкновению, не издал ни звука: видать, и петухи чего-то боятся.

Алевтина Павловна не спала. Она лежала и слушала, как дождь лупит по крыше, как шумит вишня, как где-то далеко — может, на Прудовой, может, дальше, за лесом, — воеет собака. Пальма сопела у кровати, дёргала лапой во сне и пахла пылью, колбасой и дождём.

Спать не получалось. Думалось — о Галине.

Третья неделя пошла, как Галина сидела в СИЗО. Суд назначили на осень — второе сентября, Орлов сказал. Характеристики Алевтина собрала: полпосёлка подписалось, даже Колька поставил крестик («рука, Павловна, рука дрожит, а так-то я всей душой»), а Сазонов принёс характеристику на трёх листах, с датами и ссылками на журнал наблюдений («с 2009 года — соседка образцовая, конфликтов не имела, вареньем делилась»). Орлов прочитал и сказал: «Сойдёт. Сазонов ваш — золото, а не свидетель».

Передачи Алевтина носила каждую неделю. «Держись, Галина. Вишня в этом году добрая». А что ещё скажешь? Жизнь — она сложнее приговора.

Дождь усилился. Где-то треснуло — сухо, коротко. «Ветка, — подумала Алевтина Павловна. — Или забор у кого-то. Ну и гроза».

В сених заворочалась раскладушка и пробормотала голосом Кочергина:

— ...держу, держу... не уйдёт...

Степан Ильич ночевал в сених третью неделю. Дело Пасечника ушло в суд, охранять свидетеля было официально не от кого, но раскладушка не убиралась — «мало ли», говорил Кочергин, и Пальма днём спала на ней с таким видом, будто так было всегда. Алевтина Павловна не возражала. Дом, в котором тридцать лет жили двое, а потом восемь лет — одна, вдруг снова стал домом, где храпят в сених. Странное дело — храп ей не мешал. Даже наоборот.

— Спи, Стёпа, — сказала она в темноту. — Гроза. До утра пройдёт.

Раскладушка скрипнула в ответ что-то согласное. Алевтина Павловна закрыла глаза — и тут же открыла: в дверь заколотили. Не позвонили — звонка у неё отродясь не было, — а заколотили, по-деревенски, кулаком, взхлёб.

— Павловна! Павловна, беда!

Голос был Филимоновин. Алевтина Павловна накинула халат и вышла на крыльцо — босиком, в дождь. Клавдия Филимонова стояла у калитки — мокрая, в ночной рубашке поверх платья, в одном тапке. Второй тапок она держала в руке, как вещественное доказательство.

— Клавдия! Ты чего? Гроза же! Заходи!

— Какой заходи! — Филимонова замахала тапком. — У нас забор повалили! Ночью! И записка! Угрозы! «Убью» написано! Павловна, разберись как судья, Христом богом!

Алевтина Павловна и выбежавший в трусах и кителе Кочергин переглянулись.

— Тапок надень, Клавдия, — сказала Алевтина Павловна. — А то простудишься. Стёпа, одевайся. Пальма! На выход! У нас новое дело!

Пальма гавкнула и бросилась к калитке — прямо в дождь, прямо в ночь. Вишня шумела над головой. Пахло грозой, мокрой землёй и — Алевтина Павловна узнала этот запах сразу, хоть и не нюхала его три недели, — новым делом.

Утро выдалось ясное, промытое, до неприличия красивое: гроза ушла за лес, и над «Ромашкой» встало солнце — умытое, как после бани. С крыш капало. Петух Филимоновых орал — фальшиво, победно, как ни в чём не бывало. А забор Филимоновых лежал.

Лежал он основательно, всей двенадцатиметровой длиной, штакетником в лужу. Столбы торчали из земли, как гнилые зубы. А на калитке — уцелевшей, нахально прямой среди всеобщего падения, — белел тетрадный лист, приколотый канцелярской кнопкой. Новой, блестящей. Не ржавой.

Алевтина Павловна прочитала вслух:

— «УБЬЮ».

Одно слово. Печатными буквами. Крупно, размашисто, с нажимом — бумага в двух местах была продавлена до дыр.

— Господи, — Филимонова прижала руки к груди. — Господи, Павловна! Кому мы помешали?! Мы же тихие! Мы же... Петрович! Скажи!

Филимонов — муж Клавдии, владелец фальшивящего петуха, человек обстоятельный и медленный, — стоял над поверженным забором с таким лицом, будто хоронил родственника. Роста он был немалого, сапог носил сорок четвёртого размера — это Алевтина Павловна отметила машинально, глядя на его ноги, мокрые по щиколотку.

— Следствие разберётся, Клавдия, — сказал Кочергин важно. Он был уже при форме — причёсанный, умытый, с фуражкой. Раскладушка в сених дисциплинирует. — Не толпитесь, граждане! Дайте должностному лицу работать!

Граждан, впрочем, толпилось немного: была суббота, утро, и «Ромашка» ещё досыпала грозу. Только Сазонов стоял у своей калитки через улицу — в плаще поверх пижамы, с биноклем, — и что-то записывал в журнал. Да Пальма обнюхивала столбы с деловым видом.

— Так, — сказала Алевтина Павловна. — Смотрим. Стёпа, столб поддержки. Тимоша!

— А? — внук, прискакавший в тапочках и с телефоном, уже снимал. А то как же.

— Не «а», а фотографируй. Каждый столб. Крупно. Для дела.

Столбов было шесть. Два крайних стояли криво, но держались. А четыре средних... Алевтина Павловна присела, потрогала излом — и подняла глаза на Кочергина.

— Стёпа. Это не ветер.

— А что?

— Подпил. Видишь? — она показала: ровный, свежий рез у самой земли, а дальше — долом. — Ножовкой работали. Вчера. Может, позавчера. Опилки вон — ещё жёлтые, не потемнели. Дождь их только прибил.

— Подпилили, — ахнул Филимонов, — а гроза доломала! Вот гады! Вот же...

— Тихо, Петрович, — сказала Алевтина Павловна. — Дальше смотрим. Тимоша, землю вдоль забора. Крупно.

Земля после грозы была мягкая, и следы читались, как в букваре. Сапог. Большой. Алевтина Павловна достала из кармана фартука рулетку — судейская привычка, всё своё ношу с собой: блокнот, очки, рулетку — и замерила.

— Сорок четвёртый, — сказала она. — Примерно. Стёпа, запиши: след сапога, сорок четвёртый размер, идёт вдоль забора, туда-обратно.

— Записал, — Кочергин старательно вывел в блокноте: «сапог 44». — Павловна... А у Петровича какой?

— Сорок четвёртый, — сказала Алевтина Павловна, не поднимая глаз. — Я вижу, Стёпа. Все видят. Но это ничего не значит. Сапоги сорок четвёртого полпосёлка носит.

— А у кого ещё сорок четвёртый? — заинтересовался Тимофей.

— Выясним, — сказала Алевтина Павловна. — А теперь записка. Тимоша, снимай, потом снимем.

Записку она сняла пинцетом — тем самым, дедовым, медицинским, — и рассмотрела на свет. Печатные буквы. Размашистые. Нажим сильный, уверенный.

— Правой писали, — сказала она наконец. — Видишь, Тимоша? Наклон, нажим, хвостик у «Б» — правая рука. Уверенная.

— Ну и что? — спросил Кочергин.

— А то, Стёпа, что прошлую записку — «сгоришь вместе с теплицей», помнишь? — писали левой. Через силу. А эту — правой, свободно. Значит, писал не тот. Другой человек. Это важно.

— А кнопка новая, — добавил Тимофей. — В прошлый раз ржавая была. Ба, я запомнил!

— Молодец, — сказала Алевтина Павловна. — Всё запоминай. Следствие — это когда запоминают всё, а выводы делают потом. — Она убрала записку в пакетик. — Улика номер один.

— А... а кто это, Павловна? — прошептала Филимонова. — Кто нам угрожает? Кому мы...

— А вот это, Клавдия, мы сейчас и выясним, — сказала Алевтина Павловна. — Петрович! Иди сюда. Вопрос у меня. Неприятный.

— Ну? — Филимонов подошёл, вытирая руки о штаны.

— Забор твой стоит на меже. Так?

— Так.

— А межа у вас с соседом — спорная. Так?

Филимонов насупился. Филимонова всплеснула руками:

— Павловна! При чём тут межа?! Нам угрожают! Убью — написано!

— При том, Клавдия, что заборы просто так не пилят. Тем более — на спорной меже. — Алевтина Павловна повернулась к огородам: за поваленным забором зеленел огород Филимоновых, а дальше, за бороздой, — огород соседа. Огороды смыкались задами: участки выходили на разные улицы, а межа шла по тылам. — Сосед твой кто, Петрович?

— Михеич, — буркнул Филимонов. — Речная, четырнадцать. Двадцать сантиметров, Павловна! Двадцать! Третий год судимся... ну, ругаемся. Я говорю — моё, он говорит — его. А теперь вот... записки!

— Михеич, — повторила Алевтина Павловна. Дед Михеич с Речной — тихий вдовец, пенсионер, человек незаметный. Три недели назад стоял у правления и спрашивал, правда ли убили. — А Михеич где? Дома?

— Дома, — Сазонов, неслышно подошедший с журналом, ткнул пальцем через улицу. — У окна сидит. Смотрит. Я его в бинокль... в смысле, я его видел.

— Петрович, — сказала Алевтина Павловна, — а документы на межу у тебя есть? План участка?

— Есть! — Филимонов оживился. — Всё есть! Десяносто восьмой год, межевание, всё по закону! Двадцать сантиметров — мои! По плану!

— Неси план. Будем разбираться. А ты, Стёпа...

— А я к Михеичу? — Кочергин выпрямился. — Допросить? При форме?

— А ты со мной, — сказала Алевтина Павловна. — К Михеичу пойдём вместе. Вежливо. По-соседски. Без «допросить». Понял?

— Понял, — вздохнул участковый. — Вежливо. Это когда ты улыбаешься, а человек потеет?

— Именно, — сказала Алевтина Павловна. Она посмотрела на поваленный забор, на пакетик с запиской, на след сорок четвёртого размера — и добавила тихо, так, чтобы слышал

только внук: — Тимоша. А скажи мне: кому в здравом уме придёт в голову пилить забор в грозу?

— Никому, — сказал Тимофей. — Пилили раньше. А гроза... ну, гроза кстати пришлась. Или...

— Или, — кивнула Алевтина Павловна. — Вот именно: или. Пойдём. Сначала — документы. Потом — Михеич. А потом... — она посмотрела в сторону Речной, где за вишнями темнел заколоченный дом с синими ставнями, в котором жил теперь уже не покойник, а самый живой человек на свете, — ...а потом нам понадобится Витёк. Потому что межевание девяносто восьмого года оформлял у нас кто? Правильно. Кротов.

— Ба, — сказал Тимофей, когда они шли домой завтракать. — А это... ну... Это дело? Ну, настоящее? Как тогда?

Алевтина Павловна посмотрела на внука: семнадцать лет, тапочки, телефон, йодная сетка давно сошла, а взгляд — взгляд остался. Взгляд человека, который однажды уже искал преступника и нашёл.

— Пока — забор, Тимоша. Но заборы, как показывает практика... — она помолчала. — Заборы — это только начало.

Над «Ромашкой» сияло промытое солнце. С крыш капало. Петух орал. А судья в отставке шла домой и думала о подпиленных столбах, о сапоге сорок четвёртого размера и о правой руке, которая писала «УБЬЮ» — размашисто, уверенно, с нажимом.

«Правая рука, — думала она. — Интересно. Очень интересно».

Глава 1. Межа

20 июня, день

Огурцы «Муромские» пошли дружно — зелёные, пупырчатые, наглые. Алевтина Павловна стояла в новой теплице — поликарбонатной, голландской, «как у Эдуарда, только с душой», — и пересчитывала их. По привычке. Двадцать три. Нет — двадцать четыре. Она сбилась, начала снова и махнула рукой: всё. Больше не считает.

— Ба! — Тимофей просунул голову в дверь теплицы. — Там Петрович план принёс! И Сазонов пришёл! С журналом! И Кочергин... ну, он и так тут. Завтракать будем или следствие вести?

— Сначала завтракать, — сказала Алевтина Павловна. — Следствие на голодный желудок — это произвол. Неси огурцы. Три штуки. Самые наглые.

Завтракали на крыльце — вчетвером, не считая Пальмы, которой досталась оладья («без яблока, собакам яблоко ни к чему» — традиция). Оладьи были с пылу, чай — с мятой, огурцы — свои, первые в этом сезоне, с солью, с укропом. Кочергин ел молча и значительно — человек при исполнении. Сазонов ел аккуратно, промокая губы платочком, и поглядывал на журнал, лежавший рядом: журнал тоже завтракал — вниманием.

— Значит, так, — сказала Алевтина Павловна, когда с оладьями было покончено. — Петрович, показывай план.

Филимонов развернул на столе бумагу — старую, пожелтевшую, с печатями и подписями. План участка, межевание 1998 года. Красная линия межи шла по тылу огорода — ровно, уверенно. А рядом, синей шариковой ручкой, рукой Филимонова, было приписано: «Михеич врёт!!!» — с тремя восклицательными знаками.

— Вот! — Филимонов ткнул пальцем. — Вот моя граница! А его забор — вот здесь! — он ткнул на двадцать сантиметров в сторону. — Двадцать сантиметров моей земли! Третий год! Я ему говорю: подвинь! А он...

— А он что? — спросила Алевтина Павловна.

— А он говорит: твой план — филькина грамота! — Филимонов побагровел. — Мой план! С печатями! Филькина! А у самого... у самого вообще ничего нет! Слова одни!

— Слова — это тоже кое-что, Петрович, — сказала Алевтина Павловна. — Иногда слова дороже планов. Особенно если план... — она поднесла бумагу к свету, достала очки, рассмотрела подписи. — Хм.

— Что? — в один голос спросили Кочергин и Тимофей.

— Подпись, — сказала Алевтина Павловна. — Вот эта. Землемера. Кривая какая-то.

— Какая? — Филимонов заглянул через плечо. — Нормальная подпись! Загогулина! У всех загогулины!

— Загогулина-то загогулина, — Алевтина Павловна сняла очки. — Да не та. Видишь? Нажим... петля... Я тридцать лет подписи рассматривала, Петрович. Эта подпись — не его рука. То есть... — она помолчала. — То ли подписывали второпях, то ли подписывал не он.

— Кто — не он?! — Филимонов побледнел. — Павловна! Ты что хочешь сказать?! Что план мой... что он...

— Я пока ничего не хочу сказать, — Алевтина Павловна сложила очки. — Я хочу посмотреть другие бумаги того времени. Сравнить. Петрович, ты не волнуйся раньше времени. Может, человек болел. Может, спешил. Девяносто восьмой год — сам помнишь, какое время было.

— Помню, — мрачно сказал Филимонов. — Дефолт. Забор тогда и ставил — на последнее. А теперь его пият! Павловна! Найди! Христом богом!

— Найдём, — сказала Алевтина Павловна. — Петрович, а скажи мне: ножовка у тебя есть?

— Ножовка? Есть. В сарае. А что?

— А опилки у столбов — жёлтые, свежие. Пилили недавно. Ты в сарае в последние дни был? Ничего не пропадало?

— Не был, — Филимонов задумался. — Недели две не заходил. А что... ты думаешь — моей ножовкой?! Моей?! Да кто...

— Никто, Петрович. Пока — никто. — Алевтина Павловна повернулась к Сазонову: — Сазонов! А что у тебя в журнале? Ночь грозы?

Сазонов надел очки, раскрыл журнал — толстую тетрадь, лучшую систему видеонаблюдения «Ромашки», — и прочитал скрипучим голосом:

— «Ночь с девятнадцатого на двадцатое июня. 0:40 — гроза началась, юго-запад. 1:15 — треск, думал — гром. Теперь думаю — забор. 2:00 — свет в окне Михеича погас. 4:30 — гроза ушла за лес. Петух молчал всю ночь — отметить: впервые».

— Свет в окне Михеича, — повторила Алевтина Павловна. — До двух ночи горел? Сазонов, а Михеич — сова?

— Михеич — жаворонок, — Сазонов покачал головой. — В девять ложится, в пять встаёт. Всю жизнь. У меня записано.

— Интересно, — сказала Алевтина Павловна. — Очень интересно. Что же он делал до двух ночи? Гроза, забор трещит... Ладно. — Она встала. — Значит, так. План такой: Петрович, ты идёшь домой, успокаиваешь Клавдию и НИЧЕГО не трогаешь у забора — ни столбов, ни опилок. Понял?

— Понял.

— Сазонов, ты — золото. Журнал береги. Стёпа, ты со мной к Кротоку. А ты, Тимоша...

— А я с вами! — внук вскочил.

— А ты моешь посуду, — сказала Алевтина Павловна. — А потом — с нами. Идёт?

— Идёт, — вздохнул Тимофей. — Ба, а Настя сегодня звонила! Ну, писала. Сессию сдала! На выходных приедет! На два дня!

— Вот и хорошо, — улыбнулась Алевтина Павловна. — Встретим. Пирог испечём. С вишней — последняя в этом году, отходит уже.

— С вишней, — мечтательно сказал Тимофей и пошёл мыть посуду — счастливый, гремя тарелками на весь дом.

— Влюбился, — констатировал Кочергин, глядя ему вслед. — Эх, молодость.

— Влюбился, — согласилась Алевтина Павловна. — Семнадцать лет. Имеет право. Пойдём, Стёпа. К Витьку.

Дом с синими ставнями на Речной, 47, было не узнать. Ставни открыты, окна вымыты, во дворе — поленница, новая, аккуратная, а из трубы вился дымок: Кротов топил печь даже летом — «для души», говорил. На крыльце, на табуретке, стояла гитара в старом чехле. А сам хозяин — худой, заросший, но уже не испуганный, а просто худой, — копался в огороде: сажал что-то зелёное, поздно, не по сезону, но с энтузиазмом человека, у которого впереди — жизнь.

— Бэллка! — он воткнул лопату и пошёл навстречу, вытирая руки. — И Степан Ильич при форме! Проходите! Чайник горячий! У меня варенье... ну, покупное. Своего пока нет. Но к осени — будет! Смородину посадил!

— Будет, Витёк, — Алевтина Павловна оглядела двор. — Обживаешься. А документы как? Паспорт?

— О! — Кротов закатил глаза. — Паспорт — это песня, Бэлла. ЗАГС говорит: вы умерли, принесите справку, что вы живы. Я говорю: вот он я, живой! А они: это слова, а нужна справка. А справку даёт... знаешь кто? ЗАГС! Круг замкнулся! Орлов смеётся, Глебов смеётся, один я не смеюсь. Но ничего. Орлов говорит — к августу решит. «Видали и не такое», — говорит.

— Решит, — сказала Алевтина Павловна. — Орлов — мужик толковый. Витёк, а мы к тебе по делу. Помнишь межевание девяносто восьмого? Филимоновых? С Лесной?

— Девяносто восьмой? — Кротов наморщил лоб. — Так это ж... погоди... Это когда я ещё... ну да, оформлял. А что?

— А то, что подпись землемера на плане — кривая. Не его рука. Ты не помнишь — кто тогда подписывал? Может, второпях? Может, за него?

Кротов долго молчал. Потом сел на крыльцо, достал папиросу — он снова начал курить, «воскресшие тоже курят», — и сказал тихо:

— Бэлла. Девяносто восьмой... Ты помнишь, что тогда было? Дефолт. Все бегали, все спешили. Межевали — пачками. Подписывали — не глядя. Я... — он затыкнулся. — Я честно оформлял, Бэлла. Но руки... рук не хватало. Приносили готовое, я визировал. А кто там подписывал за землемера — землемер тогда пил, царствие ему... — он махнул рукой. — Может, и подписывали за него. Не исключая. А что, из-за этого забор повалили?

— Из-за этого — межа спорная, — сказала Алевтина Павловна. — А забор... забор отдельно. Пока — отдельно. Витёк, а пруд? Межевание пруда — тоже тогда? Ты помнишь?

— Пруд? — Кротов нахмурился. — Пруд — это раньше. Девяносто пятый, что ли. Колхозные земли... Там вообще тёмный лес был, Бэлла. Бумаги... — он помолчал. — Слушай, а чего это ты про пруд?

— Да так, — сказала Алевтина Павловна. — Пенсионерское любопытство. — Она встала. — Спасибо, Витёк. Гитару береги. И вот что: если вспомнишь что-то про те подписи — звони. В любое время. Понял?

— Понял, — Кротов тоже встал. — Бэлла... А Настенька... ну... Она пишет, что приедет. С Тимофеем вашим... они... ну...

— Дружат, — сказала Алевтина Павловна дипломатично. — Лето, молодость, велосипеды. Пусть дружат, Витёк. Хорошие дети. Оба.

— Хорошие, — вздохнул воскресший дед. — Бэллка... спасибо тебе. За всё. Если бы не ты...

— Если бы не я — ты бы так покойником и ходил, — улыбнулась Алевтина Павловна. — А теперь — давай, оживай окончательно. Смородину поливай. До встречи.

Они шли обратно по Речной — мимо палисадников, мимо мальвов, мимо пацанов, которые ловили у пруда карасей и проводили их взглядами («вон она, судья, опять кого-то ищет»), — и Кочергин молчал. Наконец не выдержал:

— Павловна. А подпись-то... ну... Это что значит? План — липа?

— Это значит, Стёпа, что в девяносто восьмом году кто-то подписывал за землемера. Кто — пока неизвестно. Может, помощник. Может... — она не договорила.

— Может — Пасечник? — тихо спросил Кочергин. — Он тогда уже... ну... председателем был?

— Был, — сказала Алевтина Павловна. — С девяносто пятого. И бумаги через него шли. Все. — Она помолчала. — Но Пасечник мёртв, Стёпа. С мёртвого не спросишь. А вот забор повалили вчера. Живые. Пойдём к Михеичу. Вежливо. По-соседски.

Михеич жил на Речной, 14 — через два дома от заколоченного дома Кротока, наискосок от Филимоновых. Домик у него был маленький, аккуратный, с резными наличниками — вдовец, а порядок держал: ни соринки, ни травинки лишней. Во дворе, под навесом, парень лет девятнадцати копался в мопеде — худой, вихрастый, с отвёрткой в зубах. Увидев гостей, он вынул отвёртку и сказал:

— О. Судья. Здравствуйте.

— Здравствуй, — сказала Алевтина Павловна. — А ты...

— Ваня. Внук. — Парень вытер руки о штаны. — Дед! К тебе! Судья с участковым! При форме!

— Иду! — донеслось из дома. И вышел Михеич: невысокий, сухонький, в очках с треснувшей дужкой, перемотанной изолентой. Посмотрел на гостей — и лицо его замкнулось, как ставни. — Ну. Пришли. Забирать?

— Да что ты, Михеич! — Алевтина Павловна всплеснула руками. — Никто тебя забирать не пришёл! Поговорить пришли. По-соседски. Чаем угостишь?

— Чаем... — Михеич помолчал. Потом отступил от двери. — Заходите. Чайник горячий. Только... — он посмотрел на Кочергина. — Ты, Степан Ильич, фуражку-то сними. А то как на допросе.

— Сниму, — Кочергин торопливо снял фуражку. — Михеич, я... мы... ну...

— Садитесь, — Михеич разлил чай — крепкий, с чабрецом. Руки у него слегка дрожали. От возраста. Или не от возраста. — Спрашивайте. Знаю, зачем пришли. Забор. Все думают — я. Филимонов думает, Клавдия думает, весь посёлок думает. Михеич забор повалил, Михеич угрожает. Так?

— А ты — валил? — мягко спросила Алевтина Павловна.

— Нет! — Михеич стукнул чашкой о стол — чай плеснул на скатерть. — Нет, Павловна! Не валил я! Тридцать лет живу — чужого не трогал! Межа — да, спорная! Двадцать сантиметров — да, мои, я так считаю! Но забор валить?! Записки писать?! «Убью»?! — голос его сорвался. — Да я... да мне... Ваня! Скажи!

— Дед спал, — сказал Ваня с порога. Он так и стоял в дверях, с отвёрткой в руке. — Гроза была, мы рано легли. Я в наушниках музыку слушал, дед читал. Газету. Потом свет выключил. Я слышал — выключатель щёлкнул.

— Во сколько? — спросила Алевтина Павловна.

— Не знаю. Часов в одиннадцать? Может, позже. Я уснул.

— А Сазонов говорит — свет у вас до двух горел, — сказал вдруг Кочергин. И тут же смутился: — Ну, он говорит... в журнал записал...

— До двух? — Михеич нахмурился. — Да нет... Хотя... — он задумался. — Вставал я. Ночью. Гроза гремела — проверял, не заливает ли погреб. Свет включал. Ненадолго. А Сазонов... — он махнул рукой. — Сазонов в бинокль всё видит, а понимает — половину.

— Погреб-то как? — спросила Алевтина Павловна. — Не залило?

— Сухо. Бог миловал. — Михеич отпил чаю. — Павловна. Я тебе как на духу: забор — не я. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но ты вот что скажи: мне-то теперь как? Весь посёлок пальцем тычет. Ване вон... — он кивнул на внука. — Ване в чате уже написали: «твой дед — убийца заборов». Шутники.

— В чате разберёмся, — сказала Алевтина Павловна. — Тимофей мой админ... ну, почти админ. Почистит. А ты, Михеич... — она помолчала. — А ты скажи мне: ножовка у тебя есть?

— Ножовка? Есть. А что?

— А сапоги у тебя какой размер?

— Сорок второй, — Михеич посмотрел на неё с подозрением. — А что?

— А то, что след у забора — сорок четвёртый, — сказала Алевтина Павловна. — Так что ты, Михеич, по ногам не подходишь. Понял? Не подходишь. — Она встала. — Спасибо за чай. И не переживай: разберёмся. Найдём, кто пилил. А между... между тоже разберём. По-честному. Документы поднимем. Договорились?

— Договорились, — Михеич встал её проводить. У калитки он вдруг сказал тихо: — Павловна... Спасибо. Что не как все. Что поговорить пришла, а не... ну...

— Все — это все, — сказала Алевтина Павловна. — А я — это я. Держись, Михеич. И Ване скажи: пусть в чате не отвечает. Молчание — золото. Особенно в чате.

Они шли домой — мимо пруда, где пацаны так ничего и не поймали, мимо правления с новым объявлением («Сход 27 июня! Выборы председателя! Явка обязательна!»), — и Кочергин сказал:

— Павловна. А след-то... ну... Сорок четвёртый. А у Филимонова — сорок четвёртый. Это что же... он сам? Свой забор?

— А вот это, Стёпа, очень хороший вопрос, — сказала Алевтина Павловна. — Очень хороший. — Она остановилась у объявления и прочитала его дважды. — Выборы председателя. Двадцать седьмого. Через неделю. — Она помолчала. — Так-так.

— А что интересного? Председателя-то нет. Пасечник... ну... Выбирать надо.

— Надо, — согласилась Алевтина Павловна. — Вот только... — она не договорила, потому что в этот момент рядом затормозила машина. Чёрная. С городскими номерами. Тонированная — как та, в мае, на которой приезжали «покупатели» пруда.

Стекло опустилось. Мужчина лет сорока, загорелый, в дорогих очках, улыбнулся им — широко, белозубо, как улыбаются люди, которые привыкли, что им говорят «да».

— Добрый день! — сказал он. — Не подскажите, как к правлению проехать? А то мы... — он кивнул назад, где сидел ещё один, помоложе, с папкой. — Мы по делу. По пруду.

Кочергин надулся и открыл было рот, но Алевтина Павловна опередила:

— Прямо, молодой человек. До конца улицы. Правление — с флагом. Не ошибётесь.

— Спасибо! — стекло поднялось. Машина тронулась — медленно, важно, как карета.

— Павловна! — прошептал Кочергин. — Это же... ну... городские! Покупатели! Опять!

— Опять, — сказала Алевтина Павловна, глядя вслед машине. — Через месяц после... Пойдём, Стёпа. Домой. Мне надо подумать. И блокнот достать. Новый. Синий. «Дело №2» — помнишь, я заводила? Вот и пригодился.

— А забор? — спросил Кочергин. — Ну... кто повалил-то?

— А забор, Стёпа... — Алевтина Павловна усмехнулась. — Забор подождёт до завтра. Пусть полежит. Лежачий забор — он как лежачий преступник: никуда не убежит. А вот городские... — она посмотрела на тёмную улицу, где за поворотом скрылась чёрная машина. — Городские — это серьёзно. Городские просто так не приезжают.

Дома их ждал ужин — ранний, дачный: картошка с укропом, свои огурцы («первые, ба! двадцать четыре штуки было, три съели — двадцать один остался!» — «Тимоша! Ты что, считаешь?!» — «А то! Традиция!»), чай с мятой. Ели молча, думали. Пальма спала на крыльце — на посту. Раскладушка в сених ждала Кочергина.

— Ба, — сказал вдруг Тимофей. — А Настя завтра приезжает. Ну, в воскресенье. На неделю! Мама отпустила! Сессию сдала! Я её встречу. На электричке. Ладно?

— Ладно, — сказала Алевтина Павловна. — Встречай. Пирог испеку. С вишней. Последней.

— Ба... А это дело... ну, забор... Оно... ну... надолго?

— Не знаю, Тимоша, — честно сказала Алевтина Павловна. Она достала синий блокнот, открыла первую страницу и написала:

Дело №2. СНТ «Ромашка». Забор Филимоновых.

А ниже — три строчки:

1. Подпил свежий, ножовка. След 44 (у Филимонова — 44!).

2. Записка: правая рука, кнопка новая. НЕ ТА рука, что в прошлый раз.

3. Межа спорная, подпись кривая. Межевание-98 — проверить!

Она перечитала, подчеркнула третью строчку — дважды, как делала всегда с самым главным, — и добавила четвёртую:

4. Чёрная машина. Городские. Пруд. Опять.

— Ба, — спросил Тимофей, заглядывая в блокнот. — А это... ну... Это всё связано? Забор, межа, городские?

— Не знаю, Тимоша, — сказала Алевтина Павловна. — Пока — не знаю. Но знаешь, что я тебе скажу? Совпадений не бывает. Бывают — связи. Которые мы пока не видим. — Она

закрыла блокнот. — Спать. Завтра — воскресенье. Завтра придет Настя, завтра сход... нет, сход через неделю. Завтра — разберёмся с ножовкой. Чья она, откуда опилки. Спи.

Но сама она легла не скоро. Стояла у окна, смотрела на тёмную «Ромашку», на вишню, на теплицу — новую, голландскую, с двадцать одним огурцом, — и думала: подпись, сапог, записка, машина. Четыре слова крутились, как бельё в барабане.

«Завтра, — сказала она себе. — Всё — завтра».

Где-то за прудом кричала выпь. Пальма тихо вздыхала во сне. А в тёмном небе над «Ромашкой» висела луна — круглая, любопытная, как соседка. Всё видит, ничего не говорит.

Пока — ничего.

Глава 2. Городские

21 июня, воскресенье

Букет ромашек Тимофей нарвал у правления — там они росли особенно нагло, прямо из-под таблички «СНТ „Ромашка“. Основано в 1989 году». Нарвал, оглянулся — не видел ли кто, — и нарвал ещё: для Насти не жалко.

— Ба! — он влетел в дом. — Ну как? Нормально? Или... ну... мало?

Алевтина Павловна оторвалась от пирога — с вишней, последней в этом году, вишня отходила, — и оглядела внука: причёсанный (впервые за неделю!), в чистой футболке, с ромашками. Семнадцать лет. Влюблён. Всё налицо.

— Нормально, — сказала она. — Ромашки девушке, которая приезжает в «Ромашку», — это, Тимоша, почти стихи. Давай, беги. Электричка в десять сорок. Опоздаешь — я тебя сама... ну, ты понял.

— Понял! — внук вылетел за дверь. Через секунду голова просунулась обратно: — Ба! А собрание во сколько?

— В двенадцать. У правления. Успеешь. Настя пусть устраивается у деда, а ты — на собрание. Ты мне нужен. С камерой.

— Есть! — и был таков.

Пирог поспел к одиннадцати — румяный, с решёткой, с вишней, которая пузырилась сквозь прутья. Алевтина Павловна поставила его остывать, переделась («на собрание — как на процесс: строго, но без мантии»), взяла блокнот — синий, «Дело №2», — и вышла на крыльцо. Утро было душное, парное: после грозы парило, над прудом стоял туман, Пальма снова рыла яму под вишней.

— Сегодня будет жарко, — сказала Алевтина Павловна вишне. — Во всех смыслах.

Вишня ничего не ответила. Вишни — они как судьи: слушают, не перебивают.

К двенадцати у правления собралось человек сорок — почитай, полпосёлка. Скамейки вынесли, кто-то притащил табуретки, пацаны с Речной залезли на забор правления — «оттуда лучше видно!». Чёрная машина стояла тут же, важная, тонированная, с городскими номерами. Рядом с ней — двое.

Первого Алевтина Павловна уже видела: загорелый, в дорогих очках, улыбка на миллион. Второго — моложе, лет тридцати пяти, с папкой, — она видела вчера мельком в машине. Он стоял чуть позади, молча, и смотрел. Взгляд у него был вежливый. И пустой. Как у человека, который открывает двери, подаёт стулья — и запоминает, кто где сидит.

— Граждане! — загорелый поднял руки. — Добрый день! Меня зовут Виктор Андреевич Ланской, компания «Заводь Парк». А это мой помощник, Шустов Виктор Петрович. Мы приехали к вам с выгодным предложением! С очень выгодным!

— Знаем мы ваши предложения! — крикнул Колька-рыбак из задних рядов. — Пасечник тоже предлагал! Где он теперь?!

Толпа загудела. Ланской улыбнулся ещё шире — улыбка у него была тренированная, несмываемая.

— Понимаю ваш скепсис! Понимаю! Но мы — не Пасечник. Мы — серьёзная компания. Вот наше предложение. — Он кивнул, и Шустов молча раздал листочки — глянцевого, с картинкой: пруд, пляж, лодочки, кафе с зонтиками. Красиво. Очень красиво. Слишком красиво. — Мы берём берег пруда в аренду на сорок девять лет. Благоустраиваем: пляж, лодочная станция, кафе, детская площадка. Каждому владельцу берегового участка — компенсация. Посёлку — новая дорога. Рабочие места! Налоги! Цивилизация!

— А караси?! — закричал Филимонов, перекрывая гул. — Караси где будут жить?! В вашем кафе?!

— Водоём остаётся! Рыбалка остаётся! — Ланской поднял руки. — Всё остаётся, граждане! Только лучше! Лучше и цивилизованнее!

— А межевание? — спросила вдруг Алевтина Павловна. Негромко. Но толпа стихла — её голос на собраниях действовал, как молоток судьбы.

— Что, простите?

— Межевание, — Алевтина Павловна встала. — Берег пруда. Чья земля? Колхозная? Поселковая? Размежёвана? И второй вопрос: водоохранная зона. Водный кодекс, статья шестьдесят пять. В водоохранной зоне строить нельзя. Кафе с зонтиками — это строительство. Как вы это согласуете?

Пауза. Ланской смотрел на неё — улыбка дрогнула, но устояла.

— А вы, простите...

— Крапивина. Судья в отставке. С улицы Вишнёвой.

— А-а-а, — Ланской кивнул. Что-то в его лице изменилось — он явно слышал фамилию. — Наслышан. Что ж... По существу: межевание проведено, документы в порядке. Согласования... — он развёл руками. — Согласования мы берём на себя. У нас опыт. У нас юристы. Всё будет по закону, Алевтина Павловна. Даю слово.

— Слово — это хорошо, — сказала Алевтина Павловна. — А документы — лучше. Принесите документы, Виктор Андреевич. Межевание, проект, согласования. Посмотрим. Почитаем. Мы тут люди грамотные. — Она села. Толпа одобрительно загудела.

— Принесём! — Ланской кивнул Шустову — тот что-то записал в папку. — Обязательно принесём! А пока... — он оглядел толпу. — Пока подумайте, граждане! Подумайте! Новая дорога! Благоустройство! Деньги! Мы уезжаем, но вернёмся. Скоро. — Он сел в машину. Шустов — за руль. Стекло поднялось. Машина тронулась — медленно, важно.

— Видали?! — Колька вскочил на скамейку. — «Подумайте!»! Пасечник тоже говорил: подумайте! А потом... ну... Сами знаете!

— Тихо! — Кочергин, стоявший у правления при форме, поднял руку. — Без самостоятельности! Граждане! Раз уж собрались... У меня объявление. Официальное. — Он достал бумагу и прочитал по слогам: — «Двадцать седьмого июня состоится сход СНТ „Ромашка“. Повестка: выборы председателя правления. Явка обязательна. Кандидатуры подавать мне. То есть... — он смутился. — В правление. Мне. Я принимаю».

— А кандидаты есть? — крикнула Рая.

— Пока один, — Кочергин сверился с бумагой. — Филимонов Пётр Петрович. Программа: «Порядок и караси».

— Ура! — закричал Филимонов и тут же смутился: — Ну... то есть... спасибо за доверие! Караси будут! Порядок будет!

— А я! — вдруг встала Клавдия Филимонова. — А я чем хуже?! Я тоже выдвигаюсь! Программа: «Пироги и справедливость»!

Толпа ахнула. Потом — засмеялась. Потом — заплодировала. Филимонов смотрел на жену так, будто видел её впервые:

— Клавдия! Ты... ты против меня?!

— Я не против тебя, Петя, — Клавдия поправила платок. — Я — за посёлок. Конкуренция! Демократия! По телевизору говорят — это хорошо!

— Записал, — Кочергин старательно вывел: «Филимонова — пироги». — Ещё кандидаты?

— Сазонова! — закричала Рая. — Петровича давайте! Он честный! У него журнал!

— Я... я не могу... — Сазонов замахал руками. — У меня... у меня бинокль... то есть... у меня дела! Наблюдения!

— Записал, — сказал Кочергин. — Сазонов. Без программы. Пока.

— А Крапивину! — крикнул кто-то. — Павловну — в председатели!

— Да-а-а! — подхватили. — Павловну!

— Нет! — Алевтина Павловна встала. — Нет, граждане. Я в отставке. Я судья, а не председатель. Это разные профессии. Председатель — это трубы, взносы и дорога. А я... — она оглядела толпу. — А я вам и так помогаю. Без должности. Всё. Вопрос закрыт.

— Жаль, — сказала Рая искренне. — Ну ладно. Петрович у нас есть. И пироги. Прорвёмся.

Расходились шумно: обсуждали и городских, и выборы, и Клавдию («против мужа пошла! во даёт!»). Алевтина Павловна задержалась у правления — записывала в блокнот: *«Заводь Парк» — аренда 49 лет, документы обещаны, межевание — проверить!* — и тут услышала за спиной:

— Алевтина Павловна.

Ланской. Вернулся — один, без Шустова (тот сидел в машине). Подошёл близко. Улыбки не было.

— Слушаю, Виктор Андреевич.

— Вы женщина умная. Юрист. С вами — начистоту. — Он помолчал. — Пруд нам нужен. Вопрос решённый. Там, — он кивнул вверх, в сторону города, в сторону тех, кто решает, — там всё согласовано. Соппротивление... — он развёл руками. — Соппротивление бесполезно. И вредно. Для здоровья. Понимаете?

— Понимаю, — сказала Алевтина Павловна. — Угрожаете?

— Предупреждаю. По-хорошему. — Он наклонился ближе. — И вот ещё что. У вас внук камеры чинит. Передайте ему: пусть чинит. А лишнего — не смотрит. По-хорошему прошу.

Пауза. Где-то за правлением куковала кукушка. Пахло пылью, бензином и большими деньгами.

Алевтина Павловна достала блокнот, открыла его — медленно, на глазах у Ланского, — и записала. Дословно. Потом подняла глаза:

— Записала. Дословно. Число, время, свидетели — вон, Сазонов с биноклем, всё видит. А теперь слушайте меня, Виктор Андреевич. Внук мой будет смотреть всё, что захочет. Это раз. Пруд — общий, и решать будет сход, а не те, кто «там». Это два. А угрожать мне... — она сняла очки и посмотрела на него так, как смотрела когда-то на подсудимых. — А угрожать мне, молодой человек, не надо. Я тридцать лет приговаривала тех, кто угрожал. Поняли?

Ланской смотрел на неё долго. Потом усмехнулся — криво, без улыбки:

— Понял. До встречи, Алевтина Павловна. — Он пошёл к машине. Уже у дверцы обернулся: — Документы привезём. Почитаете. Вы же грамотная.

Машина уехала. Алевтина Павловна дописала в блокноте: *Ланской: угроза (внук, камеры). Свидетель — Сазонов.* И подчеркнула. Дважды.

— Ба! — Тимофей подбежал — с камерой, запыхавшийся. — Ба, ты всё слышала? Ну, он чего тебе говорил? Он угрожал?!

— Угрожал, — сказала Алевтина Павловна. — Но ты не бойся. Тот, кто угрожает вслух при свидетелях, — дурак. А дураков мы не боимся. Мы их... — она усмехнулась. — Мы их записываем. Пойдём. Настя приехала?

— Приехала! У деда устраивается! Ба, пойдём скорее! Там... ну... там дед плачет!

— Плачет? — Алевтина Павловна смягчилась. — Ну, это ничего. Это от счастья. Пойдём.

Настенька Кротова сидела на крыльце дома с синими ставнями — загорелая, счастливая, с рюкзаком, — а дед суетился вокруг: стул вынес, чайник поставил, варенье достал (покупное, но с гордостью). Увидев Алевтину Павловну, Настенька вскочила:

— Алевтина Павловна! Здравствуйте! А я... ну... на неделю! Мама отпустила! Сессию сдала! Буду деду помогать! Огород, дом...

— Вот и умница, — Алевтина Павловна обняла её. — А Тимофей тебе всё покажет. Он у нас... — она посмотрела на внука, который стоял красный, с ромашками за спиной. — Он у нас экскурсовод. Тимоша! Чего прячешь?

— Да так... — внук протянул ромашки. — Вот. Это... ну... У правления росли. Самые наглые выбрал.

— Ой, — сказала Настенька. И покраснела тоже. — Спасибо. Ромашки... в «Ромашке». Это... ну... мило.

— А меня в чат добавьте? — спросил вдруг Кротов. — Ну, в поселковый? Я же теперь... ну... житель. Официально почти.

Все засмеялись — а Тимофей достал телефон:

— Дядь Витя, а как вас записать? Ну, ник? «Воскресший»? «Покойник_47»?

— Тимоша! — Алевтина Павловна покачала головой, но улыбалась. — Запиши: «Виктор Сергеевич». По-человечески. Хватит человеку покойником быть. Даже в чате.

— «Виктор Сергеевич», — Тимофей застучал по экрану. — Готово! О! А тут уже... Ба, глянь, чего пишут! Колька: «городские воду отравят, вот увидите!» Рая: «а я взносы платила, у меня квитанции!» Филимонов: «голосуйте за порядок и карасей!» А Клавдия ему: «Петя, уймись, пироги победят!»

— Ох, — сказала Настенька. — У вас тут весело.

— У нас тут — «Ромашка», — сказала Алевтина Павловна. — Тут всегда весело. Иногда — слишком.

Кротов смотрел на них — и улыбался. Впервые за пять лет — по-настоящему, без страха. Алевтина Павловна сделала вид, что изучает поленницу.

— Значит, так, молодёжь, — сказала она. — План: Настя устраивается, отдыхает. Тимофей помогает. В меру. А вечером — все к нам. Пирог с вишней. Последней. Идёт?

— Идёт! — хором сказали молодые. И смутились ещё больше.

Ужинали на крыльце — впятером, с Кротовым: пирог, чай, смородина (первая, от Сазонова — «угощайтесь, у меня всё записано»). Разговаривали — о сессии, об огороде, о выборах («Клавдия против мужа! Во даёт!»). О городских — не говорили. Нарочно. Воскресенье. Пирог. Не надо.

Вечером, когда гости разошлись по домам, а Тимофей ушёл провожать Настю («до калитки, ба! до дедовой калитки!»), Алевтина Павловна села писать письмо.

«Здравствуй, Галина. Пишу тебе в воскресенье, вишня отходит, огурцы пошли — двадцать один, Тимоша считает, традиция. Характеристику твою подписали почти все шесть улиц, даже Колька крестик поставил. Орлов говорит — всё идёт как надо. Суд второго сентября, он готовится. Ты держись. Слышишь? Держись — и мы держимся. Вишня в этом году добрая. Алевтина».

Она перечитала, заклеила конверт, подписала: «Галине. В СИЗО. С воли». И подумала: дойдёт. Обязательно дойдёт. Письма с воли — они как хлеб. Ими живут.

— Ба! — Тимофей вернулся — счастливый, взъерошенный. — Проводил! До калитки! Ба, а Настя... ну... Она говорит — у вас тут как в кино. Только лучше. Потому что по-настоящему.

— По-настоящему, — согласилась Алевтина Павловна. — Это точно. Спать, Тимоша. Завтра — понедельник. Завтра — водолазы... нет, водолазы — это если... — она не договорила. — Спать. Утро вечера мудренее.

Но когда стемнело окончательно и Кочергин в сених на раскладушке уже видел первый сон, Алевтина Павловна вышла на крыльцо одна. Духота стояла страшная: ни ветерка, ни звука. Где-то далеко, за лесом, погромыхивало. Пальма лежала на крыльце, положив морду на лапы, и смотрела в темноту — туда, где за вишнями темнел пруд.

— Гроза будет, — сказала Алевтина Павловна. — Опять. — Она достала блокнот и при свете фонаря дописала:

«Заводь Парк»: Ланской (угрозы!) + Шустов (молчит, смотрит). Документы — ждать. Выборы 27.06: Филимонов, Клавдия (!), Сазонов. Я — отказалась.

Вопрос 1. *чѐ межевание? Подпись кривая — кто подписывал?*

Она закрыла блокнот. За лесом полыхнуло — беззвучно, как фотовспышка. Потом ударило — далеко, глухо. Пальма подняла голову и тихо, неуверенно заскулила.

— Тихо, девочка, — Алевтина Павловна потрепала её по загривку. — Гроза. Пройдёт. Всё проходит.

Но Пальма скулила. А Пальма, как известно, зря не скулит.

Ночью гроза пришла — злая, с ливнем, с ветром. Алевтина Павловна спала плохо: всё думала — о Ланском, о пруде, о внуке, которому угрожают. Под утро задремала — и приснился ей пруд. Тихий, зеркальный. А по нему идут круги. Один, другой, третий. Как от камня. Как от...

Она проснулась в семь. Дождя не было. Было тихо. Слишком тихо. Даже петух молчал. А потом закричали. У пруда.

Глава 3. Панама

22 июня, понедельник

Кричали пацаны с Речной — те самые, что ловили карасей и ничего не ловили. Теперь они не ловили. Они стояли на мостках и кричали — взхлёб, перебивая друг друга:

— Панама! Тут панама! И никого! Дяденьки нет, а панама есть!

Колька-рыбак, сидевший тут же с удочкой, был белый, как сметана. Увидев бегущих Алевтину Павловну, Кочергина и Тимофея, он вскочил:

— Павловна! Я ничего! Я рыбачил! Я... ну... Я его не видел! Честно!

— Коля, успокойся, — сказала Алевтина Павловна. — Кого — его?

— Ну... городского. Риелтора. Он вчера вечером тут был. На мостках. А теперь... — Колька кивнул на мостки. — А теперь панама. А его нет.

На мостках — старых, скрипучих, с которых три поколения «Ромашки» прыгало в воду, — лежала панама. Мужская. Выцветшая. С оборванным ремешком. А рядом, на доске, — окурок. С красным фильтром. Свежий — почти сухой, видно, упал между досок, и дождь его не достал. Значит, курили ночью. До грозы. Ждали?

Алевтина Павловна остановилась у мостков и подняла руку:

— Стоп. Дальше — никто. Стёпа, держи толпу. Тимоша, снимай. Всё. Общий план, крупный, каждую доску.

Толпа — а собралось уже человек пятнадцать — гудела. Рая прибежала в халате. Сазонов — с биноклем и журналом. Филимонов — с багром («а вдруг... ну...»). Эдуард подъехал на велосипеде — с дочерью. Алиса, загорелая, в наушниках, смотрела на всё круглыми глазами.

— Пап, — спросила она. — А это... ну... опять? Как тогда?

— Не знаю, — Эдуард снял очки, протёр. — Посмотрим.

Алевтина Павловна надела перчатки — резиновые, из аптечки («судья в отставке носит с собой перчатки — мало ли»), — и присела у панамы. Осмотрела — не трогая. Понюхала — табак. Старый, вьёвшийся, кислый. «Прима». Без фильтра. Курильщик «Примы» носил эту панаму годами — табак вьёлся в ткань, как судьба.

— Панама шестидесятого размера, — сказала она. — Старая. Ремешок оборван — давно, края затёрты. Табак в складке — «Прима». — Она подняла глаза. — Мужчины! Кто из вас носит шестидесятый? И курит «Приму»?

Молчание. Потом Колька сказал тихо:

— Михеич курит «Приму». Всю жизнь. А размер... ну... У Михеича голова... того... большая. Умная.

— Голова большая — это хорошо, — сказала Алевтина Павловна. — Это значит — есть чем думать. Стёпа! Михеича — сюда. Вежливо. Скажи: панаму опознать. Может, его. Может, нет.

— А окурок? — спросил Тимофей, снимая крупно. — Ба, окурок с фильтром! Красным! А «Прима» — без фильтра! Значит, курили двое? Ну, панама — одного, а окурок — другого?

— Молодец, — сказала Алевтина Павловна. — Соображаешь. Окурок — в пакетик. Пинцетом. Улика номер... — она сбилась. — Улика номер два. Записка была первой. Хотя... — она помолчала. — Хотя, может, это разные дела. А может — одно. Разберёмся.

— Павловна! — Рая протиснулась вперёд. — А городской-то где? Ну, риелтор? Утоп? Как есть утоп, да?

— Неизвестно, Рая. Может, уехал. Может... — Алевтина Павловна не договорила. Потому что Пальма — умница Пальма, которая всё это время обнюхивала берег, — вдруг залилась лаем у камышей. Яростно, взхлёб.

— Там! — Тимофей бросился к камышам. Раздвинул их палкой. И присвистнул: — Ба! Смотри!

Сандалия. Мужская. Кожаная. Дорогая — такие в «Ромашке» не носят, такие носят в городе, в офисе, с носками. Сорок третий размер. Почти новая. Одна. Второй — не было.

— Пальма, ищи! — скомандовала Алевтина Павловна. — Ищи, девочка!

Пальма искала — честно, долго, по всему берегу. Второй сандалии не было. Не было — и всё.

— Значит, так, — сказала Алевтина Павловна, убирая сандалию в пакетик — не влезла, взяла второй, побольше. — Улика номер три. Стёпа! Звони Глебову. Скажи: пропал человек. Риелтор Ланской. Панама, окурок, сандалия. Пусть решает: водолазы, розыск... Пусть решает он. А мы... — она оглядела толпу. — А мы расходимся. Не толпимся. Коля! Ты останься. Поговорим.

Колька остался — белый, потный, с удочкой, которую держал, как ружьё.

— Коля. Ты вчера вечером был тут. Что видел? Только честно. Всё. С самого начала.

— Ну... — Колька сглотнул. — Пришёл я часов в девять. Рыбачить. Сети проверить... то есть... ну, удочку закинуть. А он тут. Городской. На мостках стоит. Один. Курит. Нервный такой. По телефону говорил. Громко. Я слышал... ну... не всё. «Ты мне должен!» — кричал. И: «Я всё расскажу!» Кому — не знаю. Потом он телефон сунул, закурил ещё. А потом...

— А потом?

— А потом я ушёл. Смеркалось. Гроза собиралась. Я... ну... Я сети... то есть... я домой пошёл. А утром пришёл — а тут панама. А его нет. Павловна! Я ничего! Я... ну...

— Коля, — сказала Алевтина Павловна мягко. — А сети у тебя где стоят? Ну, те, которые ты «проверяешь»?

— Какие сети?! — Колька побагровел. — Нет у меня сетей! Запрещено! Я... ну... Павловна!

— Нет — и нет, — Алевтина Павловна не стала давить. Пока. — А скажи мне: городской с кем-то встречался? Ты никого не видел? Не слышал?

— Никого. Он один был. Точно. А потом... — Колька помолчал. — Машина была. Я уходил — слышал: мотор. Со стороны съезда. Какая — не видел, темно. Ну... Вроде... ну... «Нива»? Тарахтела, как «Нива». У нас полпосёлка на «Нивах».

— «Нива», — повторила Алевтина Павловна. — Хорошо, Коля. Иди. И вот что: если вспомнишь ещё — сразу ко мне. В любое время. Понял?

— Понял, — Колька попятился. — Павловна... А он... ну... Он утонул? Да?

— Не знаю, Коля. Пока — не знаю. Иди.

За завтраком Тимофей читал чат вслух — с выражением, как новости:

— Так... Колька пишет: «Русалка утатила! Я всегда говорил — в пруду русалка!» Рая ему: «Коля, ты опух! Какая русалка!» А пацан с Речной: «Это инопланетяне! Они над прудом висели! Я видел!» Ба, а Филимонов пишет: «Это городские своих же! Делят! Вот увидите!»

— А ты что думаешь? — спросила Алевтина Павловна.

— Я думаю... — внук понизил голос. — Ба, а помнишь: воры в чате сидят? Ну, я тогда шутил. А теперь думаю: может, и правда? Ну, читает же он. Тот, кто... ну...

— Может, — сказала Алевтина Павловна. — Поэтому ты в чате лишнего не пиши. Про улики — ни слова. Про панаму, про окурок — молчок. Пусть думает, что мы ничего не знаем. Понял?

— Понял, — внук посерьёзней. — Ба, я — могила. Ну, в смысле...

— В смысле — молодец, — сказала бабка. — Доедай. Глебов скоро будет.

Глебов приехал к обеду — хмурый, в штатском («я вообще-то в отпуске, Павловна, у меня путёвка горит!»). На пакетики он смотрел с тоской человека, который уже проходил это однажды.

— Панама. Окурок. Сандалия. — Он пересчитал. — Павловна. Тело есть?

— Тела нет, Руслан Андреевич. Человек пропал. Риелтор. Вчера угрожал мне. При свидетеле. Записано. — Она протянула блокнот. — Вот. Дословно.

Глебов прочитал. Поднял брови:

— Угрожал? Вам? Смелый. Или дурак. — Он помолчал. — Ладно. Заявление о пропаже — от кого? Родственники? Партнёр?

— Партнёр. Шустов. Он в городе. Вызовите?

— Вызову. Официально. — Глебов встал. — Водолазов дам завтра. Сегодня — никак, все на... ну, заняты. А вы, Павловна...

— А я пироги пеку. С вишней. Последней. Будете?

— Буду, — сдался следователь. — Но имейте в виду: если он утонул по пьяни — это несчастный случай. Без вас разберёмся. А если... — он не договорил.

— А если — то со мной, — закончила Алевтина Павловна. — Знаю, Руслан Андреевич. Знаю.

А молодёжь — Тимофей, Настя и Ваня, которого Тимофей позвал «для компании» (а на самом деле — чтобы не сидел один и не думал), — прочёсывала дальний берег. Прочёсывали честно: с палками, с телефонами, цепочкой, как учили. Пальма бежала впереди — главная.

— Дед всю жизнь тихий, — сказал вдруг Ваня. Он шёл, глядя под ноги. — Мухи не обидит. А тут... панама его. Все думают — он. А он... ну... Он ночами не спит теперь. Я слышу — ходит. Вздыхает.

— Мой дед тоже не спал, — тихо сказала Настя. — Пять лет. Когда... ну... Ты понимаешь. А теперь — спит. Потому что Алевтина Павловна разобралась. Она и тут разберётся. Вот увидишь.

— Ба разберётся, — подтвердил Тимофей. — Ба всегда разбирается. О! Смотрите!

В траве у самой воды валялась пачка. Размокшая, бесформенная. Тимофей подцепил её палкой.

— «Прима», — прочитал Ваня. И побледнел. — Это... ну... Дед такую курит. Всегда.

— Спокойно, — Тимофей достал телефон, сфотографировал. — Ба разберёт. Пачка размокшая — давно лежит. Может, неделю. Может, месяц. Это не улика. Пока. — Он посмотрел на Ваню. — Слушай. А давай мы с тобой... ну... Будем на связи. Если что — сразу мне. У меня страница есть. «Барсик». Напишешь — я бабке передам. Быстро. Идёт?

— Идёт, — Ваня кивнул. — Спасибо. Ну... за компанию. И вообще.

Находку показали Алевтине Павловне вечером. Она повертела размокшую пачку, понюхала, покачала головой:

— Размокла насквозь. Лежала давно — не со вчерашнего дня. Может, Михеича. Может — чья угодно: «Приму» полпосёлка курило в своё время. Не улика. Пока. Но молодцы: нашли, сфотографировали, руками не трогали. Хвалю. — Она помолчала. — А Ваню, Тимоша, не бросай. Ему сейчас тяжело. Понял?

— Понял, — сказал внук. — Мы теперь... ну... на связи.

После этого она пошла к Михеичу — одна, без Кочергина («ты, Стёпа, у пруда подежурь, мало ли»), с панамой в пакетике. Михеич открыл сразу — будто ждал. Ваня стоял за его спиной.

— Михеич. Панаму опознай. Твоя?

Михеич посмотрел на панаму — долго. Потом кивнул:

— Моя. Была. Потерял. На прошлой неделе. У пруда. Рыбачил — снял, положил... А потом хватился — нет. Думал — ветром сдуло.

— А табак в ней — твой? «Прима»?

— Моя. Всю жизнь курю. — Михеич поднял глаза. — Павловна. Я его не видел. Городского. Не говорил с ним. Панаму потерял — да. А больше — ничего. Веришь?

Алевтина Павловна смотрела на него долго. Сухонький старичок в очках с изолентой. Внук за спиной. Чай с чабрецом. Страх в глазах — или не страх? Усталость?

— Верю, Михеич, — сказала она наконец. — Пока — верю. Но панаму я забираю. Для дела. И вот что: если городской к тебе подходил — с предложением, с угрозами, с чем угодно, — скажи мне. Сейчас. Лучше мне, чем следователю. Понял?

— Не подходил, — Михеич покачал головой. — Никто ко мне не подходил. Кому я нужен...

— Нужен, Михеич. Внуку нужен. — Она кивнула Ване. — Держитесь. Оба.

Домой она шла медленно — мимо пруда, где Кочергин дежурил у мостков («пост сдал — пост принял, Пальма со мной!»), мимо правления, где висело объявление о выборах, мимо вишни, которая роняла последние ягоды. Настя и Тимофей сидели на крыльце — чинили велосипед, смеялись. Увидев её, притихли.

— Ба, — спросил Тимофей. — Ну что? Панама — его? Ну, Михеича?

— Его. Потерял на прошлой неделе. Говорит.

— А ты веришь?

— Верю. Пока. — Алевтина Павловна села на крыльцо. Устала — вдруг, сразу, как накачивается в её возрасте: волной. — А ты мне вот что скажи, Тимоша. Как специалист. Вот человек пропал ночью. Панама чужая на мостках. Окурочек свежий. Сандалия в камышах. Что это значит?

— Это значит... — внук задумался. — Это значит — он был не один. Ну, окурочек-то свежий! Кто-то курил. Ждал? Или... ну...

— Или, — кивнула Алевтина Павловна. — Вот именно: или. — Она достала блокнот и написала:

Ланской пропал (ночь 21→22.06, гроза). На мостках: панаму Михеича (потеряна неделю назад?), окурочек с красным фильтром (свежий!), сандалия 43 в камышах.

Колька: Ланской кричал в телефон «ты мне должен, я всё расскажу». Машина-«Нива» у съезда.

Вопрос 2. с кем говорил Ланской?

Вопрос 3. кто курил на мостках?

Вопрос 4. где вторая сандалия? И где сам Ланской?

Она закрыла блокнот. Помолчала. Потом сказала — тихо, так, чтобы слышали только внук и Настя:

— Дети. А скажите мне: если человек тонет — он сандалии снимает?

— Нет, — сказал Тимофей. — В сандалиях и... ну...

— Вот именно, — сказала Алевтина Павловна. — В сандалиях. А тут — одна сандалия в камышах. А вторая — где? И панамы — чужая. И окурочек — свежий. — Она посмотрела на пруд, тихий, зеркальный, вечерний. — Нет, дети. Тут что-то не так. Что-то совсем не так.

— Ба, — прошептал Тимофей. — А если он не утонул?

Алевтина Павловна долго молчала. Потом сказала:

— Если, Тимоша... Тогда у нас дело №2. Настоящее. А забор... — она усмехнулась. — А забор — это была разминка.

Где-то за прудом кричала выпь. Пальма, вернувшаяся с дежурства, легла у крыльца и положила морду на лапы. А в домике на Вишнёвой горела лампа — и судья в отставке смотрела в блокнот, где вопросов становилось всё больше, а ответов — пока ни одного.

Впереди были водолазы. Впереди был Шустов. Впереди был новый день.

«Завтра, — сказала она себе. — Всё — завтра».

Глава 4. Вода держит недолго

23 июня, вторник

Водолазы приехали к девяти — двое, молодые, весёлые, с красным баллоном и чёрным юмором. К десяти они нашли Ланского: лежал на дне у самых мостков, на двух метрах, зацепившись рубашкой за корягу. Как будто пруд держал его — и не отпускал. Вода держит недолго. Но держит.

Алевтина Павловна стояла на берегу — в числе первых, разумеется, — и смотрела, как тело поднимают. Толпа молчала: даже Колька молчал, даже Рая не причитала. Только Сазонов записывал в журнал — рука у него слегка дрожала — и пацаны с Речной стояли белые, без обычных ухмылок. Смерть — к ней и со второго раза не привыкнешь.

— Так, — Глебов, приехавший с водолазами, осмотрел тело — быстро, профессионально. — Значит, так. Предварительно: ссадина на левом виске — ударился. При падении. О мостки. В лёгких вода — проверяют, но, похоже, утонул живым. Запах — чувствуете? Выпивши был. Вот вам и картина: выпил, оступился в темноте, ударился, упал в воду. Несчастный случай. Классика.

— Руслан Андреевич, — сказала Алевтина Павловна. — А часы?

Часы на левом запястье покойника стояли. Механика, дорогая, швейцарская — такие от воды останавливаются сразу. Стрелки показывали 23:14.

— Двадцать три четырнадцать, — прочитал Глебов. — Ну. Значит, в это время и... ну... Понятно. Ночь. Темно. Грозы ещё не было — она к часу подошла. Выпил, пошёл на мостки — зачем? — оступился...

— А панама? — спросила Алевтина Павловна. — Панама чужая, Михеича. А окурочок свежий, с фильтром — Ланской, между прочим, не курил. Шустов сказал: бросил пять лет назад. А сандалия одна — в камышах, а вторая... — она кивнула на ноги покойника: на правой ноге сандалия была, на левой — нет. — Вторая — та, что Пальма нашла. Сходится. Но панама, Руслан Андреевич! Окурочок! Чужой курильщик на мостках!

— Курильщик, — Глебов поморщился. — Павловна. Может, он днём там курил? Кто-то из ваших? Окурочок свежий — а насколько свежий? Экспертиза скажет. А панаму ветром принесло — гроза была, ураган! Всё могло быть!

— Всё могло быть, — согласилась Алевтина Павловна. — Но вы уж проверьте всё, Руслан Андреевич. Вскрытие, лёгкие, виски — удар прижизненный? И фляжку проверьте.

Фляжка нашлась во внутреннем кармане рубашки — плоская, серебряная, с гравировкой «В.А.Л.». Початая. Коньяк. Дорогой — запах стоял на весь берег.

— Вот! — Глебов поднял фляжку. — Вот вам и причина! Коньяк! Ночь! Мостки! Павловна, я вас уважаю, но тут всё ясно!

— Ясно, — сказала Алевтина Павловна. — Кроме панамы. Кроме окурочка. Кроме телефона.

— Какого телефона? Телефона не было. В карманах — нет, проверяли.

— Вот именно, — сказала Алевтина Павловна. — Телефона не было. А человек без телефона в наше время — как без рук. Где телефон, Руслан Андреевич? Утонул? Потерял? Или... — она не договорила.

— Или, — вздохнул Глебов. — Вечно у вас — или. Ладно. Ищем телефон. Водолазы прошерстят дно. Тело — в морг. Вскрытие завтра. А вы, Павловна...

— А я пироги пеку. С капустой. Вишня отошла.

— С капустой, — Глебов впервые за утро усмехнулся. — Ладно. Но учтите: пока — несчастный случай. Пока экспертиза не скажет иначе. Поняли?

— Поняла, — сказала Алевтина Павловна. Но в блокнот вечером записала:

Ланской В.А. Найдено 23.06, у мостков, зацепился за корягу. Сапина на левом виске. Часы стоят: 23:14. Фляжка, коньяк, почта. Телефона НЕТ.

Вопрос 5. где телефон?

Вопрос 6. кто курил на мостках (окурки с красным фильтром)?

Телефон нашёл Ваня. Днём, когда молодёжь — Тимофей, Настя и он — прочёсывали съезд к пруду («ба сказала: ищите, где машина стояла!»). Телефон лежал в траве у обочины — дорогой, в кожаном чехле, с треснувшим стеклом. Разряженный в ноль.

— Не трогай! — заорал Тимофей, но Ваня уже держал его двумя пальцами — аккуратно, как учили. — Ну... ну ладно. Так тоже можно. Ба! Ба-а-а!

Алевтина Павловна прибежала через пять минут — с пакетиками. Осмотрела находку, покачала головой:

— В траве. У съезда. Значит, он был здесь. С машиной. Или встречал машину. — Она убрала телефон в пакетик. — Улика номер четыре. Ваня! Ты — молодец. Внимательный. Дедом гордиться будешь... то есть дед тобой гордиться будет. — Она поправилась, но Ваня посмотрел на неё странно: дед? гордиться? Дед ночами не спит, ходит, вздыхает...

— Ба, — спросил Тимофей, когда шли домой. — А телефон разряжен — это как? Ну, он же вечером заряжен был? Наверное?

— Наверное, — сказала Алевтина Павловна. — А разрядился — в ноль. За ночь включённый телефон в ноль не сядет. Значит... — она помолчала. — Значит, либо батарея мёртвая, либо его разряжали. Специально. Чтобы не нашли? Чтобы не прозвонили? Интересно. Очень интересно.

— А детализация? — внук вспомнил умное слово. — Ну, звонки? Оператор даст?

— Глебов запросит. Официально. Узнаем, кому он звонил в 23:07. И кто звонил ему. — Она потрепала внука по голове. — Растёшь, Тимоша. Скоро меня заменишь.

— Не заменю, — серьёзно сказал внук. — Я дополню. Кибер... ну... Кибер-следствие. Вот.

В ЗАГС они поехали после обеда — Алевтина Павловна и Кротов. Ехали электричкой, сорок минут, и всю дорогу Кротов репетировал речь:

— «Я, Кротов Виктор Сергеевич, настоящим заявляю, что я жив». Так? Или: «Прошу считать меня живым»? Бэлла, а как правильно?

— Правильно — как скажет начальник, — сказала Алевтина Павловна. — Ты главное — паспорт старый покажи. И свидетеля. Свидетель — я. Судья в отставке. Меня послушают.

Не послушали. То есть послушали, но...

— Понимаете, — сказала девушка в окошке — молоденькая, в очках, с бейджиком «специалист», — по нашим документам вы умерли. Вот запись. Вот свидетельство. А живого вас — по документам нет. Чтобы вас... ну... оживить... нужна справка. Что вы живы.

— Так вот он я! — Кротов развёл руками. — Живой! Тёплый! Дышу!

— Это слова, — девушка развела руками. — А нужна справка. С печатью. Кто её даёт? — она задумалась. — Наверное... мы? То есть ЗАГС? Но мы не можем дать справку живому, которого нет... Ой. — Она покраснела. — Подождите, я у начальника спрошу.

Начальник — женщина строгая, с причёской, — выслушала, посмотрела на Кротова долгим взглядом и сказала:

— Паспорт старый есть? Свидетели есть? Вот вы, — она кивнула Алевтине Павловне. — Вы кто?

— Крапивина. Федеральный судья в отставке. Подтверждаю: это Кротов Виктор Сергеевич. Знаю его с 1984 года. Живой. Настоящий.

— Судья, — начальник смягчилась. — Ну, раз судья... Ладно. Пишите заявление. Рассмотрим. Срок — месяц.

— Месяц?! — Кротов схватился за голову. — Я пять лет мёртвый! Мне каждый день...

— Месяц, — отрезала начальник. Но вдруг подмигнула: — Хотя... Если адвокат ваш подсуетится... У нас и быстрее бывает. Бывало. Один гражданин у нас три года мёртвым числился — за неделю оживили. Правда, он... ну... Он депутатом был. А вы?

— А я — с гитарой, — сказал Кротов горько.

— С гитарой — это хорошо, — начальник впервые улыбнулась. — Это лучше, чем депутатом. Пишите заявление. Посмотрим, что можно сделать.

Обратно ехали молча. Потом Кротов сказал:

— Бэлла. Спасибо. Что поехала. Что... ну... Что я живой — кому-то кроме меня важно.

— Важно, Витёк, — Алевтина Павловна сжала его руку. — Очень важно. Ты потерпи. Орлов решит. А не решит Орлов — решу я. Дойду до... ну... До кого надо — дойду. Понял?

— Понял, — Кротов улыбнулся. — Бэллка-судья. Ты всегда такая была. С первого курса. Помнишь, как ты декана...

— Помню, — улыбнулась Алевтина Павловна. — Не напоминай. Декан до сих пор икает.

Дома их ждал Сазонов — с журналом, взволнованный:

— Павловна! Я пересмотрел! За ночь с двадцать первого на двадцать второе! Вот: «23:05 — мотор со стороны съезда. Вроде „Нива“. Тарахтит». И вот: «23:20 — свет фонаря у пруда. Короткий. Дважды. Как сигнал». Я тогда подумал — рыбаки. А теперь думаю...

— Сигнал, — повторила Алевтина Павловна. — Дважды. Коротко. Петрович! Ты — золото. Это же... — она открыла блокнот и записала:

23:05 — «Нива» у съезда (Сазонов + Колька!). 23:14 — часы встали. 23:20 — фонарь, дважды.

Вопрос 7. кто подавал сигнал? Кому?

— Петрович, — спросила она. — А «Нива» — чья? Ты номера не разглядел?

— Темно, — Сазонов развёл руками. — Луна за облаками. Но тарахтела — характерно. У Михеича «Нива» старая — тарахтит так же. И у Филимонова... У полпосёлка «Нивы», Павловна.

— У полпосёлка, — повторила Алевтина Павловна. — Ладно. Разберёмся. Спасибо, Петрович. Журнал — береги. Ты у нас теперь... ну... Ты у нас главный свидетель. Опять.

— А то! — Сазонов прижал журнал к груди. — С две тысячи девятого года — ни дня без записи!

Вечером, когда Тимофей ушёл провожать Настю, а Кочергин чинил в сенях табуретку («раскладушка стоит — табуретка шатается, непорядок»), в калитку постучали. Алевтина Павловна открыла — и увидела мужчину лет тридцати пяти: пыльная белая «Киа» за спиной, костюм с галстуком (в жару!), лицо недовольное. Очень недовольное. Как у отца — мелькнуло у неё. Как у Пасечника.

— Вы — Крапивина? — спросил он вместо «здрассте». — Мне про вас говорили. Я Олег. Сын.

— Пасечник? — уточнила Алевтина Павловна.

— Он самый. — Он оглядел её с ног до головы. — Слушайте... А риелтор где? Ну, Ланской? У меня с ним встреча была.

Алевтина Павловна долго молчала. Потом посторонилась:

— Заходите, Олег Григорьевич. Разговор будет долгим. Чай будете?

— Буду, — он вошёл, огляделся. — А что... что с риелтором-то?

— Риелтор мёртв, — сказала Алевтина Павловна, глядя ему прямо в глаза. — Утонул. Сегодня достали. А теперь рассказывайте: что за встреча? Когда? Где?

Лицо Олега — белое, городское, недовольное — стало ещё блее.

— Мёртв? — повторил он. — Да вы... да я... Слушайте, я тут ни при чём! Я вчера уехал! В десять вечера! Я...

— Спокойно, — сказала Алевтина Павловна. — Садитесь. Чай пейте. И рассказывайте. Всё. С самого начала. Кто, когда, зачем. Поняли?

— Понял, — Олег сел. Взял чашку обеими руками. Руки тряслись. — Только... только мать не трогайте, ладно? Ей и так... ну...

— Мать не трону, — сказала Алевтина Павловна мягко. И подумала: «Однако. Хам — а про мать вспомнил. Ну-ну. Посмотрим».

— Рассказывайте, Олег Григорьевич. Я слушаю.

Глава 5. Сын

24 июня, среда

Рассказ Олега был короткий и злой. Ланской позвонил ему неделю назад — сам нашёл номер, «у них там всё схвачено». Предложил продать дачу: «Заводь Парк» скупает участки вокруг пруда, дача Пасечников — у самого подъезда к берегу, нужна под дорогу. Цену назвал — Олег скривился: «копейки!» Встретились в воскресенье, у правления, после собрания. Поговорили. Олег отказался — «мало». Ланской сказал: «подумай, больше не предложу». Олег сказал... ну... Он сказал то, что говорят в таких случаях. Громко. Филимонова слышала — она потом всем рассказывала: «такие слова говорил! при людях!»

— А вчера? — спросила Алевтина Павловна. — Вчера вы где были?

— Вчера приехал днём. Хотел... ну... Вещи забрать. Материнские. Отцовские бумаги посмотреть. А вечером уехал. В десять. Домой, в город. Ночевал дома. Один. — Он помолчал. — Алиби так себе, да? Знаю. Сам понимаю. Но я его не трогал, клянусь! Да я его и видел-то раз в жизни!

— Проверим, — сказала Алевтина Павловна. — Тимоша!

— А? — внук высунулся из комнаты.

— Камера на въезде. Белая «Киа». Вчера. Во сколько въезд, во сколько выезд? Посмотри. Быстро.

— Уже, — Тимофей ухмыльнулся. — Я вчера ещё... ну... Любопытно было. Новая машина в посёлке — я все новые смотрю. Так вот: въезд — в 14:20. Выезд — в 22:41. Больше не въезжал. Точно. Запись есть.

— В 22:41, — повторила Алевтина Павловна. — А часы у покойника встали в 23:14. — Она посмотрела на Олега. — Считайте, повезло, Олег Григорьевич. Полчаса вас отделяют. Полчаса — и вопросов бы у меня было больше. А так... — она развела руками. — А так — вы чисты. Пока.

— Пока?! — Олег вскинулся. — Да я... Слушайте! Я вообще зачем приехал-то! Я дачу продавать буду! Мать всё равно посадят! А дача... ну... Дача деньги стоит! Земля! Чего ей пустовать!

Пауза. Тимофей замер с чашкой в руке. Пальма, дремавшая у порога, подняла голову.

— Что вы сказали? — спросила Алевтина Павловна очень тихо.

— Что слышали, — Олег отвёл глаза, но хорохорился. — Мать посадят. Лет на восемь. А то и на десять. Дача будет стоять, гнить... А мне... ну... Мне деньги нужны. Ипотека у меня. Понимаете? Ипотека!

— Понимаю, — сказала Алевтина Павловна. Она встала. Подошла к окну. Постояла. Потом обернулась — и голос её был таким, каким она говорила в зале суда, после чего даже рецидивисты начинали вести себя прилично: — Слушайте меня, Олег Григорьевич. Внимательно. Мать ваша тридцать лет прожила в этом доме. Тридцать лет варила, стирала, огород полола. Отца вашего терпела — а характер у него был, сами знаете, не сахар. А вы... — она помолчала. — А вы приезжаете через три недели после ареста — впервые! — и первое, что говорите: «продам дачу». Ипотека у него. Понимаю. А у неё — камера. Понимаете? Камера два на три. И свидание — раз в месяц. Через стекло.

— Я... я не... — Олег покраснел. — Я работаю! Я не могу...

— Можете, — отрезала Алевтина Павловна. — Все могут. Кто хочет. А теперь идите, Олег Григорьевич. Дачу без матери вы не продадите — она совладелица, а доверенность она вам не даст. Это я вам как юрист говорю. А как соседка — скажу вот что: съездите к матери. На свидание. Запишитесь. Поговорите. По-человечески. А потом — решим. С дачей. Вместе решим. Поняли?

— Понял, — Олег встал. У двери обернулся: — А вы... вы к ней ходите? Ну... на свидания?

— Хожу, — сказала Алевтина Павловна. — Завтра иду. Передать что-нибудь?

Олег долго молчал. Потом сказал едва слышно:

— Скажите... скажите — сын приезжал. Сын... ну... Сын разберётся. Вот так скажите.

— Скажу, — Алевтина Павловна кивнула. — Идите, Олег Григорьевич. И подумайте. Хорошо подумайте.

Он ушёл. Тимофей выдохнул:

— Ба. Ты его... ну... Ты его как в суде. Я аж вспотел.

— А ты не потей, — сказала Алевтина Павловна. — Ты записывай. Камера, въезд-выезд — молодец. Но вот что мне скажи: Ланской зачем дачу хотел? Подъезд к берегу — так Олег говорит. А подъезд у нас где? Правильно: съезд у пруда. Тот самый, где «Нива» стояла. И телефон в траве. Интересно. Очень интересно.

Свидание дали краткосрочное — пятнадцать минут, через стекло, по трубке. Алевтина Павловна ждала в очереди с другими — с женщинами, с детьми, с передачами, — и думала: вот она, изнанка. Судьи выносят приговоры. А потом — вот это. Очередь. Стекло. Трубка.

Галина похудела. Платок тот же — чёрный. А глаза... глаза были живые. Это главное.

— Павловна! — голос в трубке дрожал. — Как ты? Как там?.. Ну... Всё?

— Всё хорошо, Галина. Держимся. Огурцы пошли. Двадцать один. Твой... ну... Сын приезжал. Олег.

— Олег?! — Галина прижала ладонь к стеклу. — Как он? Что говорит?

— Говорит — разберётся. Хамит, но... ну... Сын. Передавал привет. Сказал — приедет. На свидание. Запишется.

— Ой, — Галина вытерла глаза. — Ой, Павловна... Спасибо. Ты ему... ну... Ты ему скажи: пусть дачу не трогает. Пока. Ладно? Пусть стоит. Там... ну... Там всё наше. Тридцать лет.

— Скажу. Он послушает. Куда денется. — Алевтина Павловна наклонилась к стеклу. — Галина. А теперь слушай меня. Это важно. Гриша... ну... Гриша в последние дни ничего такого не говорил? Про бумаги? Про баню? Про... ну...

— Про баню? — Галина нахмурилась. — Говорил. Всё повторял: «баня всё помнит, баня всё помнит». Я думала — бредит. Устал. А теперь думаю... — она помолчала. — Павловна. Ты баню-то... ну... Ты посмотри баню. Внимательно. Гриша в ней... ну... Он в ней жил, считай. Если что прятал — то там. Ты посмотри. Ладно?

— Посмотрю, — сказала Алевтина Павловна. Сердце у неё заколотилось — как тогда, в мае, у поленницы. — Обязательно посмотрю. Галина... Ты держись. Слышишь? Второе сентября — скоро. Орлов готовится. Характеристики — все шесть улиц. Держись.

— Держусь, — Галина кивнула. — Павловна... А вишня? Ну... В этом году?

— Добрая, — сказала Алевтина Павловна. — Вишня в этом году добрая. Отошла уже, правда. Но варенье — будет. Тебе — первая банка. Обещаю.

— Первая банка, — повторила Галина. И улыбнулась — впервые за свидание. — Ну, иди, Павловна. Время. И... спасибо. Что ходишь. Что... ну... Что не бросила.

— Не брошу, — сказала Алевтина Павловна. — Слышишь? Не брошу.

Обратно она ехала электричкой — сорок минут, — и всю дорогу думала: «баня всё помнит». Что помнит баня? Что прятал Пасечник? Тетрадь нашли — в погребе, в банке. А что ещё? Что-то ещё. Должно быть что-то ещё.

«Посмотрю, — сказала она себе. — Обязательно посмотрю. Внимательно».

Дома её ждала предвыборная кампания в разгаре. Филимонов развешивал листовки — на столбах, на правлении, на заборах. Листовка была от руки, крупно: «ПОРЯДОК И КАРОСИ!». Через «А». Весь посёлок ржал второй день.

— Петя! — Клавдия срывала листовки и вешала свои: «ПИРОГИ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» — с пирогами, нарисованными фломастером. — Ты позоришь фамилию! Караси — через «а»! То есть... ну... Через «о»! Ой!

— Сами вы... — Филимонов махал кистью. — Кароси — это душа! А душа правил не знает!

— А пироги — это желудок! — не сдавалась Клавдия. — А желудок — он всегда прав!

Сазонов страдал. Его выдвинули без спроса, и теперь Рая агитировала за него по всем шести улицам: «Петрович честный! У него журнал! Он всё записывает!» Сазонов ходил за Раей и просил: «Рая, не надо! Я не хочу! У меня наблюдения!» А Рая отмахивалась: «Наблюдения подождут! Посёлку нужен честный председатель!»

Эдуард молчал. На все вопросы — «а вы, Эдуард?» — он отвечал: «посмотрим». Алиса, загорелая, в наушниках, говорила: «Пап, давай! Ты крутой!» А Эдуард улыбался — и молчал. Что-то он знал. Или о чём-то думал. Алевтина Павловна отметила это машинально. В копилку.

А молодёжь — Тимофей, Настя и Ваня — сидела на берегу пруда. Не купалась. Никто в эти дни не купался — после... ну... После. Сидели, болтали, кидали камешки. Пальма лежала рядом.

— Дед опять не спал, — сказал Ваня тихо. — Ходил. Вздыхал. Я слышал. — Он помолчал. — А если это он? Ну... Если дед... того? Панама его. Все говорят...

— Не он, — твёрдо сказала Настя. — Мой дед тоже... ну... Все думали — он. А он — свидетель. Твой дед тоже... ну... Он хороший. Видно же.

— Ба разберёт, — сказал Тимофей. — Ба всегда разбирает. Ваня! Ты держись. Мы с тобой. Да, Настя?

— Да, — Настя кивнула. И вдруг взяла Ваню за руку — по-дружески, на секунду. — Держись. Всё будет хорошо. Вот увидишь.

Ваня посмотрел на неё — и отвернулся. Быстро. Чтобы не видели глаз.

А вечером — когда уже стемнело, когда Кочергин улёгся в сених, когда Пальма заняла пост на крыльце, — в калитку постучали. Тихо. Осторожно. Так стучат те, кто боится.

На пороге стоял Кротов. Белый. Без гитары. В руке — тетрадный лист.

— Бэлла, — сказал он. — Вот. На калитке было. Приколото. Кнопкой.

Алевтина Павловна взяла лист. Прочитала. Печатные буквы. Крупные. Уверенные: «3 МИЛЛИОНА. СРОК — НЕДЕЛЯ».

Кнопка — новая, блестящая. Канцелярская. Точно такая же, как на заборе Филимоновых.

— Витёк, — сказала Алевтина Павловна тихо. — Заходи. Садись. Рассказывай. Всё. С самого начала. Кто знал, что ты жив? Кто знал адрес? Всё рассказывай. Понял?

— Понял, — Кротов сел. Руки у него тряслись — как тогда, в мае, на крыльце заколоченного дома. — Бэлла... Это они. Те самые. Из двадцать первого. Они меня нашли. Через... ну... Через телевизор, наверное. Валера снимал сюжет — «воскресший», помнишь? Вся область видела. Ну вот. Нашли.

— Найдут — пожалеют, — сказала Алевтина Павловна. Она убрала записку в пакетик — пинцетом, как положено. Улика номер пять. — Витёк. Слушай меня. Ничего не бойся. Деньги не собирай. Никуда не беги. Понял? Мы их возьмём. Официально. С Глебовым. Понял?

— Понял, — Кротов выдохнул. — Бэллка... Спасибо. Я... ну... Я уж думал — опять на дно. Опять бегать. Пять лет бегал — хватит. Хватит, Бэлла.

— Хватит, — согласилась Алевтина Павловна. — Больше не побежишь. Теперь — мы за тобой. Весь посёлок. Понял?

— Понял, — Кротов встал. У двери обернулся: — Бэлла... А кнопка... Кнопка такая же, как на заборе. Это что же... Это одни и те же? Ну...

— Не знаю, Витёк, — честно сказала Алевтина Павловна. — Кнопки у всех одинаковые. В любом магазине. Но почерк... — она посмотрела на пакетик. — Почерк сравним. Завтра.

Она закрыла калитку — на замок, который щёлкнул надёжно, — и вернулась в дом. Достала блокнот. Написала:

Записка Кротову: «3 миллиона. Срок — неделя». Кнопка новая — как на заборе!

Вопрос 8. кто знал, что Кротов жив? (ТВ-сюжет — все! Плохо.)

Вопрос 9. одна рука — забор и записка? Сравнить почерк!

И ниже, подумав, добавила:

Галина: «баня всё помнит». Баню — осмотреть! Внимательно!

Она подчеркнула последнюю строчку. Дважды. Так она делала всегда — с самым главным.

За окном было совсем темно. Где-то за прудом кричала выпь. А в домике на Вишнёвой горела лампа — и судья в отставке смотрела в блокнот, где вопросов становилось всё больше, а ответов — пока ни одного.

«Завтра, — сказала она себе. — Баня. Почерк. Кредиторы. Всё — завтра».

Пальма тихо вздохнула во сне. Кочергин в сених пробормотал: «...держу, держу...». А луна над «Ромашкой» висела круглая, любопытная — всё видит, ничего не говорит.

Пока — ничего.

Глава 6. Кредиторы

25 июня, четверг

Лупу дала Клавдия Филимонова — большую, с подсветкой, для вышивки.

— Только верни! — предупредила она. — Она мне для глади нужна! Без неё я как без рук!

— Верну, — пообещала Алевтина Павловна. — Клавдия! А Петрович где? Что-то его не видно.

— В сарае сидит, — Клавдия махнула рукой. — Второй день. Говорит — инвентарь перебирает. А чего там перебирать — я не знаю. Станный он какой-то. Молчит. Вздрагивает.

— Вздрагивает, — повторила Алевтина Павловна. — Интересно. Очень интересно. — Она взяла лупу и пошла домой: сравнивать.

Две записки лежали на столе рядом: «УБЬЮ» (с забора) и «3 МИЛЛИОНА. СРОК — НЕДЕЛЯ» (с калитки Кротока). Алевтина Павловна включила подсветку, надела очки, взяла лупу — и долго, внимательно смотрела. Тимофей дышал ей в затылок.

— Ну? — не выдержал он. — Одна рука? Ну?

— Разные, — сказала Алевтина Павловна наконец. — Смотри: первая — размашистая, нажим рваный, буквы пляшут. Писали быстро, зло, правой. А вторая... — она подвинула лупу. — Вторая — аккуратная. Буквы ровные, как по линейке. Нажим одинаковый. Писал человек спокойный. Привычный. Так пишут... — она помолчала. — Так пишут те, кто привык писать. Много. По работе. Канцелярская рука.

— Значит, разные люди? — Тимофей сник. — А кнопка одинаковая...

— Кнопки у всех одинаковые, Тимоша. Стандартные. В любом магазине. Совпадение. — Она убрала записки в пакетики. — Забор — один человек. Вспыльчивый. А Кротову писал — другой. Холодный. Это важно. Запомни.

— Запомнил, — внук вздохнул. — Ба, а первая... ну... Ты знаешь, кто?

Алевтина Павловна посмотрела на внука долгим взглядом:

— Догадываюсь. Но сначала мне надо кое-что проверить. Сарай. Ножовку. Сапоги. Понял?

— Понял, — Тимофей просиял. — Ба! А можно я с тобой? Ну...

— Можно. Завтра. А сегодня... — она посмотрела на часы. — А сегодня у нас кредиторы. Глебов обещал детализацию. И Кротов... Кротов ждёт звонка. Пойдём. Проведаем.

Глебов приехал к обеду — с бумагами, хмурый, но довольный: так выглядят следователи, у которых что-то сошлось.

— Детализация, — он положил распечатку на стол. — Ланской. Последний звонок — в 23:07. Продолжительность — сорок семь секунд. Абонент... — он выдержал паузу. — Шустов. Виктор Петрович. Помощник.

— Шустову, — повторила Алевтина Павловна. — В 23:07. За минуты до смерти. О чём говорили?

— А вот это, Павловна, вопрос. Шустов говорит: Ланской был пьян, бредил, нёс чушь. Он, Шустов, сказал: пропись, утром поговорим. И положил трубку. Всё.

— И вы верите?

— А что мне остаётся? — Глебов развёл руками. — Запись разговора нет. Свидетель — Колька: слышал «ты мне должен, я всё расскажу». Кому — неизвестно. Может — Шустову. Может — нет. Алиби Шустова: ночь провёл в гостинице «Воронеж», администратор подтверждает, камеры подтверждают. Пока — держится.

— Пока, — сказала Алевтина Павловна. — Руслан Андреевич. А «Нива»? Арендованная? Проверяете?

— Проверяем. Все прокаты города. Пока — глухо. Но найдём. — Он встал. — А теперь — к Кротову. Звонок был?

— Пока нет. Ждём.

— Ждём, — Глебов поморщился. — Ненавижу ждать. Ладно. Поехали. Куклу приготовили?

«Кукла» — пачки резаной бумаги в банковской упаковке, «три миллиона», — лежала в портфеле Глебова. Настоящие деньги, как он сказал, «никто не даст, даже покойнику».

Кротов ждал у калитки — белый, осунувшийся за сутки. Настя сидела на крыльце — тоже белая. Увидев гостей, обе вскочили:

— Звонили? — спросил Глебов.

— Только что, — Кротов сглотнул. — Перед вами. Сказали: завтра. В пятницу. У моста через Усманку. В одиннадцать вечера. С деньгами. Один. Без полиции. А то... — голос его сорвался. — А то... «внучка у тебя красивая». Так и сказали. Бэлла... Настя...

— Тихо, — Алевтина Павловна обняла Настю за плечи. Девочка дрожала. — Тихо, детка. Ничего не будет. Слышишь? Ничего. Стёпа!

— А? — Кочергин, приехавший с Глебовым, вытянулся.

— Пост. У этого дома. Круглосуточно. До пятницы. И после — посмотрим. Понял?

— Понял! — Кочергин выпрямился. — Пост сдал — пост принял! Пальму дадите? Для усиления?

— Пальму дам. На ночь. Днём Пальма со мной. — Она повернулась к Глебову: — Руслан Андреевич. План?

— План простой, — Глебов достал карту. — Мост через Усманку. Кусты с обеих сторон — засада там и там. Кротов идёт с куклой. Берём на передаче. Тихо, чисто, без стрельбы. Вопросы?

— Вопрос, — сказал вдруг Тимофей. Он стоял тихий, бледный — страшнее, чем когда-либо: за Настю он боялся больше, чем за себя. — А номер? Ну, с которого звонили? Он определился?

— Определился, — Кротов показал телефон. — Вот. Неизвестный. Городской код, но... ну...

— Дай, — внук взял телефон, переписал номер. Пальцы его летали по экрану. Все молчали. Слышно было, как за забором Филимоновский петух выясняет отношения с соседским. Наконец Тимофей поднял голову: — Есть. Этот номер — на Авито. Объявление: «Нива», синяя, недорого, торг. И фото. Продавец. Вот.

Он развернул телефон. С экрана смотрело лицо: лет пятидесяти, бритое, с прищуром. Роба, как сказал бы Колька, бандитская. А за спиной продавца — синяя «Нива». Старая. Тарахтящая — по виду.

— Бандитская, — подтвердил Глебов, разглядывая фото. — Пробьём. Хотя... — он помолчал. — Хотя роба — не доказательство. Но зацепка. Хорошая зацепка. Пацан, тебе цены нет.

— Ба, — прошептал Тимофей, когда все разошлись по постам. — Ба, а «Нива»... Ну... У съезда была «Нива». А у него — «Нива». Это что же... Это он? Ну... Ланского?

— Не спеши, Тимоша, — сказала Алевтина Павловна. — «Нив» у нас полпосёлка. И полгорода. Цвет ночью никто не видел. Номеров никто не видел. Может — он. Может — нет. Не складывай раньше времени. Следствие — это когда факты, а не «может». Понял?

— Понял, — внук вздохнул. — Ба... А Настю... ну... Её правда... того? Ну, тронут?

Алевтина Павловна посмотрела на внука: семнадцать лет, испуган, держится.

— Не тронут, — сказала она твёрдо. — Пост у дома. Кочергин. Пальма. А завтра мы их возьмём. Всех. Понял? А ты... — она смягчилась. — А ты молодец. Номер пробил. Фото нашёл. Горжусь.

— Правда? — внук просиял. Потом снова помрачнел: — Ба, а я Насте сказал: не бойся, у меня бита. Ну... Помнишь? А она засмеялась. Сквозь слёзы, но засмеялась. Ба, это хорошо? Ну, что засмеялась?

— Хорошо, Тимоша, — сказала бабка. — Смех сквозь слёзы — это самое лучшее. Это значит — держится. А мы... — она посмотрела на тёмную улицу, где Кочергин уже тащил стул к калитке Речной, 47 («пост!»), где Пальма трусила рядом, деловая, при исполнении. — А мы держимся вместе. Так надёжнее.

Пост у Речной, 47, Кочергин организовал основательно: табуретка у калитки, термос с чаем (от Алевтины Павловны), фонарик, свисток («для связи», — объяснил он) и Пальма — главная боевая единица. Пальма обнюхала табуретку, обнюхала Кочергина, вздохнула — и легла рядом. Пост принят.

— Степан Ильич! — Кротов вынес кружку. — Чайку? С мятой? У меня мята... ну... Соседская. Сазонов дал. Сказал: «нервы лечить».

— Нервы — это да, — Кочергин взял кружку. — Нервы у нас теперь общие. Ты, Виктор Сергеевич, вот что скажи: не страшно? Ну... послезавтра... у моста...

— Страшно, — честно сказал Кротов. Он сел на крыльцо — рядом с Настей, которая вышла послушать. — Пять лет боялся. Привык бояться. А теперь... — он помолчал. — А теперь за неё боюсь. — Он кивнул на внучку. — За себя-то — чего? Я уже умирал. Не понравилось. А за неё...

— Дед, — Настя взяла его за руку. — Не бойся. Тут... ну... Тут все за нас. Видишь? Пост. Собака. Свисток.

— Свисток, — Кочергин приосанился. — Свисток — великая вещь. Свистну — вся улица сбежится. У нас улица... ну... Дисциплинированная. Почти.

Тимофей прибежал через час — с термосом («ба передала, второй»), с пледом («ба сказала: ночи холодные») и с видом человека, который никуда не уйдёт.

— Я на подмогу! — объявил он. — Буду дежурить! До утра!

— Тебе спать надо, — сказала Алевтина Павловна, которая пришла проверить пост. — Растущий организм.

— Растущий организм не спит, когда... ну... — внук покосился на Настю. — Когда надо дежурить. Ба! Ну я тут, у калитки! С Кочергином! Что случится-то?

— Ладно, — сдалась бабка. — До полуночи. Потом — домой. И без геройства. Понял?

— Понял! — внук просиял. — Настя! А хочешь, я тебе созвездия покажу? Ну... Я приложение скачал! Наводишь — оно показывает! Вот — Большая Медведица! А вот... ну... Это тоже Медведица. Малая. Они тут все... ну... Медведицы.

— Дурак, — сказала Настя. Но пересела ближе — чтобы лучше видеть. Медведиц. И приложение. И Тимофея.

Алевтина Павловна шла домой — и улыбалась. Пост. Свисток. Медведицы. Лето. Пусть всё будет хорошо. Ну пожалуйста. Пусть.

Ночью Кочергин задремал на табуретке — на минуту, не больше. Пальма лизнула его в нос. Он вскинулся:

— А?! Кто?! Пост сдал!

— Молодец, — сказала Пальма взглядом. И положила морду обратно на лапы. Пост она держала лучше всех. Как всегда.

Ночью она долго не спала. Думала: звонок 23:07. Шустов. «Нива» синяя. Мост. Пятница. Слова крутились, как бельё в барабане.

«Завтра, — сказала она себе. — Ловушка. Выборы послезавтра. Всё — завтра».

За окном было тихо. Слишком тихо для июня. Даже выпь молчала. Как будто вся «Ромашка» затаила дыхание — и ждала пятницы.

Глава 7. Предвыборная

26 июня, пятница

Сарай Филимоновых был как сарай: пахло дёгтем, пылью и старыми граблями. Ножовка висела на гвозде — обычная, по дереву, с жёлтой ручкой. А под ней, на верстаке, лежали опилки. Жёлтые. Свежие.

— Петрович, — сказала Алевтина Павловна ласково. — А ножовкой ты когда последний раз работал?

— Давно, — Филимонов отвёл глаза. — Недели две... ну... Может, месяц. А что?

— А опилки свежие, — Алевтина Павловна взяла щепотку, растёрла. — Дня три-четыре. Не больше. И вот что интересно: опилки — сосновые. А столбы у забора — сосновые. Совпадение?

— Совпадение! — Филимонов побагровел. — У меня весь сарай сосновый! Всё совпадает!

— А сапоги? — спросила Алевтина Павловна. — Сапоги твои где, Петрович? Сорок четвёртый?

— В сенях! А что?!

— А то, что в грязи они. По щиколотку. А дождя не было два дня. Когда успел?

Пауза. Кочергин, стоявший в дверях сарая при форме, старался выглядеть строго. Получалось плохо: ему было жалко Филимонова. Всем было жалко. Даже Пальма смотрела сочувственно.

— Петрович, — сказала Алевтина Павловна мягко. — Рассказывай. Сам. Сейчас. Пока я добрая. А то будет как в суде: сначала по-хорошему, потом — по закону.

Филимонов молчал. Долго. Потом сел на чурбак, снял кепку, вытер лысину — и сказал едва слышно:

— Я. Всё я. Забор подпилит — я. Записку написал — я. Правой. Я же правша. Думал... ну... Думал: Михеич испугается, межу отдаст. Двадцать сантиметров, Павловна! Три года! Три года он мне... А тут гроза кстати. Подпилит — гроза доломала. Как по заказу. А записку... — он махнул рукой. — Записку для страха. «Убью». Дурак. Понимаю, что дурак.

— Дурак, — согласилась Алевтина Павловна. — Петрович! Ты понимаешь, что ты наделал? Человека опозорил! Михеич три дня под подозрением! Внук его... Ване в чате пишут! Ты понимаешь?

— Понимаю, — Филимонов повесил голову. — Клавдия меня убьёт. Лучше бы я... ну...

— Клавдия тебя не убьёт, — раздался голос от двери. Клавдия Филимонова стояла в проёме — руки в боки, глаза мечут молнии страшнее грозы. — Клавдия тебя сначала на выборах победит. А потом — убьёт. Петя! Ты... ты... Ты опозорил семью! Кандидат! С подпиленным забором!

— Клавдия...

— Молчи! — она повернулась к Алевтине Павловне. — Павловна! Что ему будет? По закону?

— По закону... — Алевтина Павловна помолчала. — По закону — мелкое хулиганство, соседская ссора. Но ты вот что, Петрович, слушай. Приговор тебе такой — общественный: забор восстановишь за свой счёт. До выборов. Михеичу извинишься — при всех, на сходе. Ване — тоже. Понял?

— Понял, — Филимонов встал. — Павловна... Спасибо. Что... ну... Что без протокола.

— Без протокола — в первый и последний раз, — отрезала Алевтина Павловна. — Ещё раз — и будет протокол. И Клавдия. А Клавдия страшнее протокола. Это я тебе как судья говорю.

Извинялся Филимонов тут же — пошли к Михеичу всей процессией. Михеич выслушал — молча, с достоинством. Потом сказал:

— Ладно, Петрович. Бывает. Забор — дело наживное. Но межу... — он поднял палец. — Межу — по суду! По-честному! Документы поднимем — и как решат, так и будет!

— По-честному, — Филимонов пожал ему руку. Крепко. По-мужски. — Извини, Михеич. Дурак я. Правда — дурак.

— Дурак, — согласился Михеич. Но улыбнулся — впервые за три дня. — Все мы дураки. Кто больше, кто меньше. Чай будете? С чабрецом?

Чай пили всей процессией — с чабрецом, с вареньем (смородина, прошлогодняя). Мир был восстановлен. Забор — дело наживное. А Алевтина Павловна, уходя, записала в блокнот:

Забор раскрыт: Филимонов сам (межа!). Дело закрыто. НО: подпись кривая — осталась! Межевание-98 — проверить!

И подчеркнула. Дважды.

Днём посёлок лихорадило: выборы — завтра! Агитация достигла накала. Филимонов — с подмоченной репутацией, но не сломленный, — ходил по улицам и говорил: «Да, подпилит! Признаю! Зато честно! Порядок и караси!» Клавдия ходила следом с пирогами: «Дегустация! Не подкуп! Пироги и справедливость!» Рая агитировала за Сазонова: «Петрович честный! У него журнал!» А Сазонов прятался. Его видели то у пруда («наблюдения!»), то на огороде («прополка!»), то в бинокль — он наблюдал за наблюдающими.

— Петрович! — Рая настигла его у колонки. — Хватит бегать! Посёлку нужен честный председатель!

— Я не хочу! — Сазонов отбивался журналом. — У меня бессонница! У меня бинокль! Я ночами не сплю!

— Вот и будешь ночами сторожить! — отрезала Рая. — Председатель с бессонницей — это идеально! Воры спать не будут!

Дебаты устроили вечером у колонки — сами собой, как всё в «Ромашке». Собралось человек тридцать. Вопросы сыпались:

— А сети?! — кричал Колька. — Сетями ловить разрешите?!

— Сети — браконьерство! — отрезал Филимонов. — Порядок!

— Сети — это святое! — Клавдия толкнула мужа локтем. — То есть... ну... Традиция! Желудок!

— А вайфай?! — кричали пацаны. — Вайфай на пруд проведёте?!

— Вайфай... — Сазонов, которого вытащили на дебаты силой, растерялся. — Вайфай — это... У меня записано... Вот: «вайфай — изучить». Изучу!

Толпа ревела от восторга. Выборы удались — за день до выборов. Алевтина Павловна стояла в сторонке, ела пирог («дегустация!») и думала: хорошо. Пусть смеются. Смех — это жизнь. А дела... дела подождут до завтра. Почти все.

— А я! — вдруг сказал Эдуард. Он стоял в задних рядах — молчал весь вечер. А тут вышел вперёд. — Я тоже выдвигаюсь. Программа: деньги и порядок.

Тишина. Потом — гул. Алиса, стоявшая рядом с отцом, просияла:

— Пап! Ты крутой!

— Программа какая? — крикнул Колька. — Деньги — кому? Порядок — какой?

— Деньги — в посёлок. Порядок — везде, — Эдуард говорил спокойно, веско. — Дорога. Вода. Пруд — наш. Никому не отдадим. Точка.

— Ого! — сказала Рая. — Однако!

Алевтина Павловна смотрела на Эдуарда — и думала: зачем? Месяц назад он хотел пруд купить. А теперь — «никому не отдадим»? Что изменилось? Дочь? Совесть? Или... расчет? Она записала в блокнот — мысленно: *Эдуард выдвигается. Зачем? Выяснить!*

А после дебатов — подошла. Прямо. Как умела только она.

— Эдуард. Поговорим? Без толпы?

— Поговорим, — он кивнул Алисе: «подожди у велосипеда». Отошли к колонке. — Спрашивай, судья. Вижу — свербит.

— Свербит, — согласилась Алевтина Павловна. — Месяц назад ты хотел пруд купить. Задаток давал. А теперь — «никому не отдадим». Что изменилось?

Эдуард долго молчал. Потом сказал — тихо, серьёзно, без обычной усмешки:

— Дочь изменилась. То есть... ну... Дочь приехала. Впервые за три года — сама. Спрашивает: пап, а у вас тут убивают? А я... — он помолчал. — А я хочу, чтобы она приезжала. Чтобы ей тут было... ну... Хорошо. А не стройка. Не кафе с зонтиками. Поняла?

— Поняла, — сказала Алевтина Павловна. — А председатель — зачем? Честно?

— Честно? — Эдуард усмехнулся. — Председатель подписывает бумаги, Павловна. Согласования. Разрешения. Отводы. Я не хочу, чтобы их подписывал... ну... Не тот. Филимонов — хороший мужик, но его уломят. Клавдия... — он улыбнулся. — Клавдия — святая женщина, но председатель — это не пироги. Сазонов — честный, но мягкий. А я... — он помолчал. — А я жёсткий. Меня не уломят. Меня девелоперы боятся. Я сам девелопер. Почти.

— Почти, — повторила Алевтина Павловна. — Эдуард. А бывшая что говорит? Ну... Марина? Она знает?

— Знает, — Эдуард помрачнел. — Звонила. Сказала: «опять в игры играешь». А я сказал: приезжай, посмотри. Сама. А она... — он махнул рукой. — Ладно. Разберёмся. Ты мне вот что скажи, судья: я правильно делаю? Ну... Иду?

— Правильно, — сказала Алевтина Павловна. — Только помни: председатель — это не только подпись. Это люди. Шесть улиц. Со всеми их... ну... Карасями. Справишься?

— Справлюсь, — Эдуард выпрямился. — У меня Алиса верит. Это... ну... Это дорогого стоит. Три года не верила. А теперь — верит.

— Тогда справишься, — сказала Алевтина Павловна. — Иди. Дочь ждёт. И вот что... — она помолчала. — Ланской тебе ничего не предлагал? Ну... Лично? Отступного? Чтобы не мешал?

— Предлагал, — Эдуард не стал отпираться. — В воскресенье. После собрания. Позвонил. Сказал: «не лезь, получишь компенсацию». Я сказал: «подавись». Дословно. Можешь записать.

— Запишу, — сказала Алевтина Павловна. И записала — уже не мысленно, а по-настоящему. *Эдуард: Ланской предлагал отступное («подавись»). Мотив? Нет — он отказался. Но проверить!*

— Стёпа! — она повернулась к Кочергину. — Записал? Четвёртый кандидат?

— Записал, — участковый вывел: «Эдуард — деньги». — Павловна... А это... ну... Это хорошо? Или плохо?

— Это любопытно, Стёпа. Пойдём. У нас встреча. Шустов документы привёз.

Шустов ждал у правления — с папкой, вежливый, пустой. Молча протянул папку:

— Документы. Межевание. Проект. Как обещали. Изучайте.

— Спасибо, — Алевтина Павловна взяла папку. Тяжёлая. Настоящая. — А Виктор Андреевич... ну... Похороны когда?

— В городе. Родственники занимаются. — Шустов помолчал. — Жалко Витю. Хороший был. Нервный только. В последнее время — сам не свой. Пил.

— Пил, — повторила Алевтина Павловна. — А вы с ним в тот вечер говорили? В 23:07?

— Говорил, — Шустов не отвёл глаз. — Сорок семь секунд. Он был пьян. Бредил. Я сказал: проспись. Утром поговорим. Не поговорили. — Он развёл руками. Вежливо. Пусто. — Изучайте документы, Алевтина Павловна. Только быстро. До выборов. Новому председателю надо будет... ну... В курс войти. Понимаете?

— Понимаю, — сказала Алевтина Павловна. — Спешите?

— Дела, — Шустов сел в машину. Уже из окна добавил: — До встречи. И... соболезную. Посёлку. Потеря... ну... Серьёзная. Председатель, теперь Витя. Нехорошо у вас тут. Тревожно.

Машина уехала. Алевтина Павловна открыла папку — прямо там, у правления, не дотерпев до дома. Межевание. Проект. Согласования — печати, подписи. Красиво. Очень красиво. Слишком красиво.

А потом она увидела подпись. Землемера. На межевании пруда. Датировано — девяносто пятым годом.

Руки у неё слегка задрожали. Не от страха. От азарта — того самого, которого она не испытывала... ну... Три дня. С забора.

— Тимоша! — крикнула она. — План Филимонова! Ну, копию! Ты фотографировал! Показывай!

Внук подбежал с телефоном. Она сравнила: план межи 1998 года — и межевание пруда 1995-го. Две подписи. Два документа. Три года разницы.

— Ба, — прошептал Тимофей. — Они... ну... Одинаковые? Ну, загогулины?

— Одинаковые, — сказала Алевтина Павловна тихо. — Петля. Нажим. Хвостик. Одна рука, Тимоша. Один человек подписывал — и там, и там. За землемера. Двадцать с лишним лет назад. — Она закрыла папку. — Пруд и межа. Один почерк. Интересно. Очень интересно.

— Ба, а кто? Ну, кто подписывал?

— А вот это, Тимоша, главный вопрос. Пойдём домой. Мне надо подумать. И... — она посмотрела на часы. — И собираться. В одиннадцать — мост. Ловушка. Ты — дома. С Настей. Понял? Дома!

— Понял, — вздохнул внук. — Ба... А ты осторожнее, ладно? Ну... Там же... бандиты.

— Бандиты, — согласилась Алевтина Павловна. — Но у нас — Глебов. И опера. И Кочергин. И... — она усмехнулась. — И кукла. Три миллиона резаной бумаги. Прорвёмся, Тимоша. Прорвёмся.

Мост через Усманку — старый, горбатый, с кустами по обеим сторонам, — ночью был как декорация для кино. Опера залегли в кустах — тихо, профессионально. Глебов — в машине без номеров, за поворотом. Кротов стоял у моста с портфелем («кукла» внутри) — белый, но прямой. Не бежал. Больше не бежал.

Алевтина Павловна сидела в машине Глебова — «наблюдатель», как он сказал. «Чтобы под ногами не путались, Павловна». Она не путалась. Она смотрела. И записывала. Время. Ветер. Луну.

Одиннадцать. Тишина. Только река шумит под мостом. Да соловей — один, упрямый — поёт, как ни в чём не бывало.

Одиннадцать десять. Никого.

— Ждём, — сказал Глебов в рацию. — Тихо. Ждём.

Одиннадцать двадцать. Шорох! Все напряглись. Из кустов вылез...

— Валера! Местное ТВ! «Вести Придонья»! Эксклюзив!

Мужик с телефоном на селфи-палке, с фонарём, с улыбкой на пол-лица. За ним — тишина. Мёртвая тишина сорванной операции.

— Ты... — Глебов вышел из машины. Медленно. Страшно. — Ты кто?!

— Валера! Журналист! Мне позвонили! Сказали — тут задержание будет! Воскресший! Три миллиона! Это же... ну... Сенсация!

— Кто позвонил?! — рявкнул Глебов.

— Не знаю! Номер скрыт! Но... ну... Я же прессу... У меня удостоверение! Вот!

Телефон Кротока зазвонил — резко, оглушительно в ночной тишине. Все замерли. Кротов взял трубку дрожащей рукой. Включил громкую — как учили.

— Ты с полицией пришёл, покойник, — сказал голос. Спокойный. Вежливый. Страшный. — Нехорошо. Журналиста привёл. Совсем плохо. Встреча отменяется. Позвоню. И внучку береги. Красивая. Пока.

Короткие гудки. Тишина. Соловей — и тот замолчал.

— Так, — сказал Глебов очень тихо. — Журналиста — задержать. До выяснения. Кто позвонил — выяснить. Всё выяснить. А вы, Павловна...

— А я домой, — сказала Алевтина Павловна. Она подошла к Кротову — он стоял белый, с портфелем, — и взяла его за руку. — Пойдём, Витёк. Домой. Всё кончилось. На сегодня.

— Бэлла, — прошептал он. — Они... Они Настю... Они же сказали...

— Не тронут, — сказала она твёрдо. — Пост у дома. Кочергин. Пальма. А мы... — она помолчала. — А мы переиграем. Теперь он злой. А злые — ошибаются. Запомни, Витёк: злые всегда ошибаются. На то они и злые.

Дома она достала блокнот и записала — при свете лампы, в третьем часу ночи:

Ловушка сорвана (Валера, «Вести Придонья» — кто навёл?!). Кредитор: «позвоню».

Угроза Насе — в силе.

Межевание пруда-95 и план межи-98 — ОДНА рука! Подделывал один человек!

Вопрос 10. *кто подделывал подписи в 90-х?*

Вопрос 11. *кто навёл Валеру? (Кредитор сам? Зачем — показать силу?)*

Она закрыла блокнот. За окном светало. Завтра — выборы. Завтра — сход. Завтра — новый председатель.

Пальма тихо вздохнула во сне. Кочергин в сенах пробормотал: «...пост сдал...». А где-то за прудом — впервые за неделю — закукарекал петух. Фальшиво. Победно. Как ни в чём не бывало.

Жизнь продолжалась. Она всегда продолжается. Даже когда ловушки срываются. Даже когда кредиторы звонят. Даже когда подписи — поддельные.

Особенно — тогда.

Глава 8. Канат

27 июня, суббота

Лодка Кольки стояла у берега — старая, смолёная, с надписью «Ласточка» на борту (буквы облупились, и получилась «Ласточ а»). Канат лежал на борту — мокрый, набухший, тяжёлый. Он явно побывал в воде. Недавно.

— Коля, — сказала Алевтина Павловна ласково. — А канат чего мокрый?

— Дождь, — быстро сказал Колька. — Грозы были. Дождь мочил.

— Дождь был три дня назад, Коля. А канат мокрый сегодня. — Она потрогала канат. — Набух. Значит, в воде лежал. Долго. Когда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.